

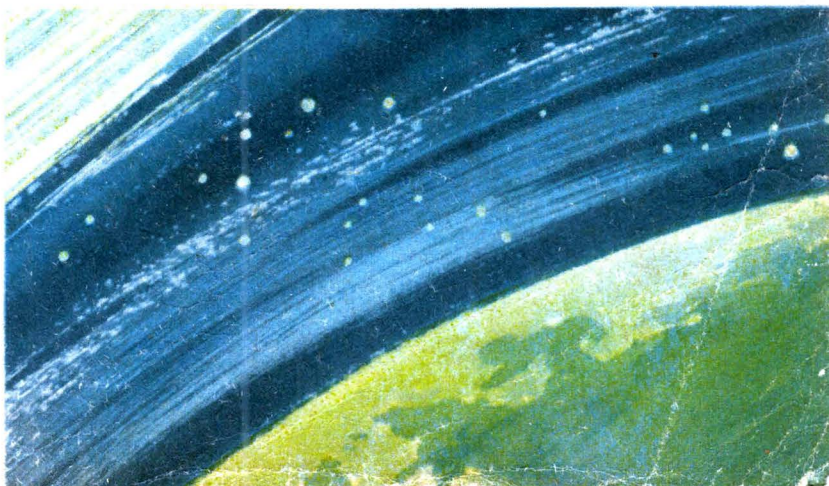
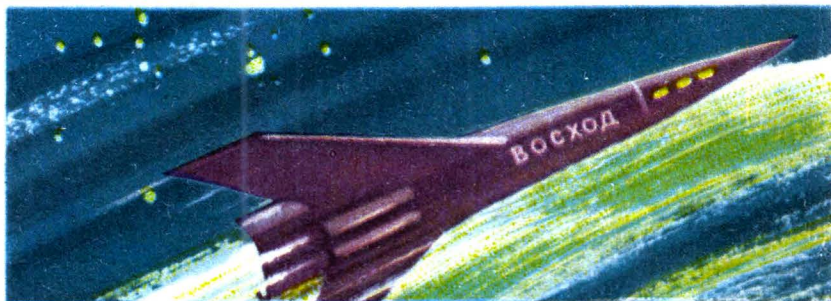
6

1964

ИскаТЕЛЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ
ЦК ВЛКСМ

ВОКРУГ СВЕТА



ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ФАНТАСТИКА





ПРИЛОЖЕНИЕ

К ЖУРНАЛУ

ЦК ВЛКСМ

ВОКРУГ  СВЕТА

ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ :

М. РЕБРОВ, Н. МЕЛЬНИКОВ. Трое на «Восходе»	2
Д. ПИПКО. Человек за пультом . . .	19
Е. ФЕДОРОВСКИЙ. Что же делать с тобой!	30
В. СМИРНОВ. Одна минута	37
Е. ПАРНОВ, М. ЕМЦЕВ. Последнее путешествие полковника Фосетта .	50
А. СТРУГАЦКИЙ, Б. СТРУГАЦКИЙ. По- недельник начинается в субботу .	106
Н. КОРОТЕЕВ. Когда в беде по грудь	113
Из блокнота «Искаателя»	136
Инесса ИРВИН. Весеннее бегство . .	140

№ **6** (24)

1964
ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД
ИЗДАНИЯ

М. РЕБРОВ,
Н. МЕЛЬНИКОВ

ТРОЕ НА „ВОСХОДЕ“

...Мы привыкли видеть такое: по бетонным плитам стартовой площадки шагает космонавт, одетый в неземной костюм. Шагает один к ожидающей его, готовой к взлету ракете, по-домашнему обжитому кораблю. Теперь шагают трое. Три космонавта, отличных друг от друга и по характерам и по профессиям, но спянных вместе в одно целое — экипаж. И одеты они не в скафандры, а в легкие синтетические костюмы.

Последние метры по земле...

Космонавты шагают к ракете. Всего два дня назад оформился экипаж, но сплотился он давно, на совместных тренировках. Даже еще раньше. Научный работник Феоктистов читал лекции в группе космонавтов. Комаров был у него «внештатным» помощником. Учитель и ученик подружились.

Борис Егоров дежурил у сурдокамеры, где за толстыми стенами сидел Комаров. Когда Борис Егоров говорил на митинге: «Мы трое — сплоченный коллектив», в его словах никто не чувствовал преувеличения. Так оно и есть — в космос отправляется дружный, надежный коллектив.

Лифт увез космическую тройку к вершине ракеты. Оттуда они шлют прощальный привет. Мы отправляемся на наблюдательный пункт.

Космонавты видны на экране телевизора. Над экраном склонился Андриян Николаев.

— Володя, как всегда, спокоен, — отмечает он с удовольствием.

— Я вижу, как мило улыбается Константин Петрович, — слышен по радио голос Главного конструктора.

Мы тоже смотрим на Феоктистова: верно, улыбается. Настроение экипажа прекрасное. Это подтверждает и Гагарин, который, как обычно на пусках, держит связь с космонавтами.

— Все идет хорошо, по программе.

— Старт!

Сверкнуло ракетное пламя.

Новая мощная ракета-носитель вывела на орбиту первый в мире многоместный космический корабль «Восход». Полет Владимира Михайловича Комарова, Константина Петровича Феоктистова, Бориса Борисовича Егорова — это новый, чрезвычайно важный этап в планомерном освоении космического пространства. Впервые в космосе работает коллектив исследователей.



КОМАНДИР КОРАБЛЯ

Начальник космонавтов не спеша читал официальное заключение, присланное из госпиталя. Владимир Комаров напряженно ждал. Решалась его судьба.

— Ну что ж, все понятно, — подняв голову, проговорил начальник.

— Что понятно?

— Понятна твоя печаль, Володя, — мягко разъяснил начальник. — Я думаю, все обойдется полегче. А тут, видишь, написали: «После операции шесть месяцев противопоказаны перегрузки, парашютные прыжки...» Шесть месяцев! Слишком долго.

— Долговато, — тяжело вздохнул Владимир.

— И что ты будешь делать эти шесть месяцев?

— Буду работать, — ответил Владимир. — Помогу ребятам в изучении теории. Все-таки я инженер, окончил академию.

— Знаю, — кивнул головой начальник. — В теории ты силен. А специальные тренировки? Ведь отстанешь за шесть месяцев... Товарищи далеко уйдут.

— Догоню, — горячо воскликнул Владимир, — честное слово, догоню! Поверьте мне...

Начальник космонавтов, взвесив все «за» и «против», склонился к тому, чтобы поставить точки над «и». И все-таки что-то останавливало начальника. Он не торопился принять окончательное решение. Может, ждал, что скажет сам Владимир? Владимир сказал: «Поверьте мне...» Из глубины души вырвались эти слова.

Начальник поднял голову, прямо, открыто посмотрел на Владимира. «А глаза у него не жалкие, не просящие. В них твердость, уверенность», — заметил он. И неожиданно для себя проговорил:

— Все зависит от тебя, Володя... От твоего запаса прочности. Еще раз сам себя проверь: можешь ли выдержать необычные жизненные перегрузки? На сколько тебя хватит? Убедись сам. А потом убеди других. Понял меня?

— Понял, — ответил Владимир.

* * *

Владимир убедил всех. Начальник космонавтов писал: «Он побывал у видных армейских специалистов-врачей. Его приняли старшие начальники... Везде он доказывал свое. Мне звонили. Чувствовалось, что и начальников и врачей-специалистов Владимира покорила страстной устремленностью к цели. За него хлопотали и товарищи. Они просили, доказывали, убеждали: Владимира надо оставить в группе... Было решено: наблюдать, как он покажет себя на тренировках.

На теоретических занятиях Владимир давно себя показал: он помогал всем, кто «спотыкался» на трудных формулах, интегралах. Материал знал, как говорили ребята, «не хуже самого Цезаря», то есть преподавателя по ракетной технике Цезаря Васильевича. Кроме того, у него был дар — объяснять сложное удивительно просто, доходчиво.

Когда стали осваивать корабль, попросили опять Владимира: «Помоги». Он разобрался во всех сложных конструкциях, одним из первых обжил «домик», стал помогать инструктору тренировать группу. Строго спрашивал, но ребята не обижались. Даже просили: «Записывай наши ошибки». Вначале записей было много. Потом все меньше и меньше. Юрий Гагарин удивился: «Почему против моей фамилии пустое место?» — «Значит, нет ошибок», — ответил Владимир. Юрий просиял: «Пора лететь в космос». Он тогда еще не знал, что скоро полетит...

Владимир отделялся от товарищей, когда те шли на «жесткие» испытания. Время от времени смотрел со стороны, как они «кружились» на центрифуге, на роторе, закрывали за собой дверь в барокамеру, теплокамеру, с грустью провожал

отъезжающих на парашютные прыжки. Тяжелая это доля — быть сторонним наблюдателем.

Однажды после очередного осмотра врач сказал: «Можно попробовать». Владимира допустили до центрифуги. Правда, дозу перегрузки определили пока небольшую. Нельзя сразу по «высшей категории». Вместе с Владимиром пошли товарищи. Дорогой они упрасивали врача: «Нельзя ли прибавить дозу?» — «Посмотрим», — неопределенно ответил врач.

Первую нагрузку Владимир выдержал легко. Чуть прибавили. Еще... Никаких отклонений от нормы. На большее врач не решился. Можно переступить границу разумного. Владимиру и так дали чуть ли не вдвое выше перегрузки, чем определили вначале. Теперь было ясно: постепенно, умножая силу, он догонит товарищей, достигнет «высшей категории».

— Что мы говорили! — ликовали товарищи. — Подождите, Володя скоро полетит в космос!

До космоса было еще далеко. Не известно, чем закончатся парашютные прыжки. Конечно, самое трудное — начало. Может, потому на первые прыжки вместе с Владимиром отправились два инструктора — один постоянный, штатный, и один добровольный. Доброволец — самый опытный парашютист. Потом он рассказывал нам:

— Я первый прыгнул, Володя — вслед. Уверенно, без всякой робости прыгнул. Я даже удивился. Мы начинали не так уж спокойно. Володя — молодец! Снижаемся близко друг от друга. Он кричит: «Можно свистеть». — «Как свистеть?» — не понял я. «Очень легко, приятно», — уточняет он. Слышимость вверху хорошая. Снижаемся, разговариваем, будто в самолете. Я советую Володе: «Развернись вправо». Он разворачивается... Приземлились хорошо. Помогли друг другу собрать парашюты. Он говорит: «Давай еще». Наш инструктор не возражает. В общем за одну командировку мы выполнили две программы. Прыгали и на землю и на воду. Володя наверстывал с утроенной энергией.

Через пять месяцев Владимир Комаров стал полноценным летчиком-космонавтом: он полностью нагнал группу.

* * *

...У вершины ракеты есть маленькая площадка. Она примыкает к самому кораблю. Просто-напросто от стальной фермы перекинут к нему мостик. Площадка — как прихожая дома: поднимется космонавт на лифте, прежде всего ступит на площадку, он не торопится ее покинуть. Нет, встанет, оглянется вокруг. Вся стартовая позиция и прилегающие к ней окрестности перед глазами. Сверху все видно. Космонавт полюбуется окружающим видом, помашет рукой земле, людям, оставшимся внизу, и шагнет в корабль. Он скоро полетит. А за день, за два до полета? И в это время космонавты, проводывая свой корабль, обживая его перед стартом, останавливаются на высотной площадке.

У Владимира Комарова с той площадкой связана незабываемая встреча с Главным конструктором. Это было два с лишним года назад, за день до полета Павла Поповича. Павел си-

дел в корабле, а Владимир стоял на площадке, облокотившись на перила, и ждал своей очереди занять кресло. Он не отвлекал Павла — надо человеку побыть одному, наедине с собой, сосредоточиться, подумать. Чуткость — вторая натура космонавта. Владимир увидел внизу, на стартовой площадке, знакомых людей (выглядели они совсем крохотными), увидел, как заходило за горизонт солнце... И не заметил, что рядом с ним остановился Главный конструктор.

— Как настроение, Владимир Михайлович? — спросил с приветливой улыбкой.

— Отличное настроение, — ответил Владимир. — Завтра проводим Пашу. Его полет для меня все равно что свой... Всей душой буду с ним.

— И я всей душой, — проговорил Главный конструктор. — За всех вас болею. Такая уж моя участь. Вот и вы полетите.

— Я, видимо, еще не скоро.

— Теперь уже недолго, — уточнил Главный конструктор. — Самое позднее, года через три. А то и через два... Время летит быстро.

— Что это будет за полет? — поинтересовался Владимир.

— А вы как думаете? Ну-ка, расшевелите свое воображение. Я послушаю. — Главный конструктор с лукавой улыбкой смотрел на космонавта.

— Мне кажется, полетит звено кораблей «Восток». А может, и побольше...

— Не совсем так, — покачал головой Главный конструктор. — Отправить в космос три, даже четыре, пять «Востоков» не так уж сложно. Меня лично это не увлекает. Думаю, что и вас... Я мечтаю в ближайшем будущем поднять на космическую орбиту тяжелый многоместный корабль. Полетят в нем сразу три человека. А вам хочется поручить самое почетное и ответственное — возглавить экипаж. Согласны?

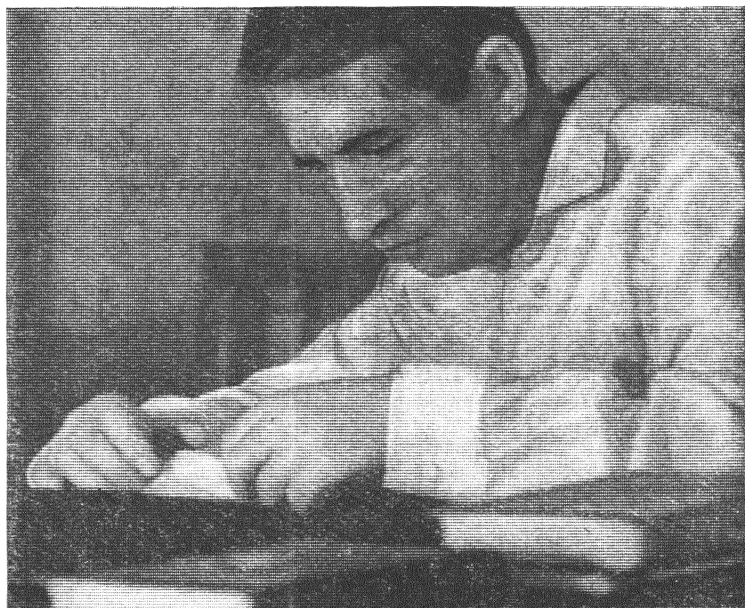
— Еще бы, с большой радостью! — воскликнул Владимир. — Я мыслю так: полетят ученый, врач и, понятно, командир экипажа.

— Космонавт-инженер. Все трое с высшим образованием, — продолжал Главный конструктор. — Новый этап в освоении космоса, новые задачи и, стало быть, новый уровень знаний космонавтов. Вы будете в полном смысле слова исследователями. Продолжите и по-настоящему развернете работу в космосе, начатую нашими первыми космонавтами. Сложно, конечно, но интересно.

— Ради такой идеи я на все готов... Любые сложности одолею! — горячо сказал Владимир.

— Верно, — ответил Главный конструктор. — Я знаю ваш характер. Возможно, потом мое мнение поддержит и Государственная комиссия. Сейчас мне трудно судить, одно вам скажу: готовьтесь.

И вот настал день 12 октября, когда Владимир Комаров, командир трехместного корабля, поднялся на лифте к вершине ракеты. Он в легком голубого цвета костюме. Владимир ступил на площадку, примыкающую к кораблю. За ним поднялись еще два члена экипажа — ученый Константин Петрович Феоктистов и врач Борис Борисович Егоров.



МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Второй в экипаже — ученый. Сказать о нем, что он кандидат наук, влюблен в свою работу — значит почти ничего не сказать. Что с детства тянуло его к технике — опять не то. Можно сказать, любит книги и немножко спорт. Можно сказать о вдохновенной силе, героизме ума, вечном поиске, убежденности...

У него есть свои вехи в жизни, поворотные пункты, что ли. Он не очень-то щедр на слова и внешне несколько замкнут. При разговоре держит голову чуть вниз, и в этом наклоне и ладной фигуре его чувствуются собранность и упорство.

Изредка он вскидывает брови, и тогда становятся видны его внимательные, пытливые глаза с веселыми огоньками.

Жизнь его — настоящая поэзия...

* * *

Пять лет разницы в возрасте не были помехой его дружбы с братом. Обычные детские раздоры у них никогда не перерастали в продолжительную ссору, в отчужденность. Даже

увлечения у них были общие — оба каждую свободную минуту отдавали книгам.

Дружба между ними была не той обычной, которая существует между старшим и младшим, а несколько иной, связанной с общими стремлениями и неудержимым интересом к проблемам звездных полетов. Как-то Борис принес домой книгу Я. Перельмана «Межпланетные путешествия». Читали ее вместе, запоем, а когда была перевернута последняя страница, долго спорили о реальности дерзких проектов переселения на Луну, Марс и Венеру.

Тогда все казалось до удивления простым.

Константину было десять лет, когда в голозе созрел, как ему казалось, четкий и продуманный во всех деталях план: он полетит на Луну.

План получился обстоятельный и учитывал все: время на постройку межзвездного корабля, подготовку к дальнему рейсу, сбор необходимых атрибутов в дорогу. Он захватит с собой карту Луны, вырезанную из старого журнала, и глобус. Последний нужен для того, чтобы выбрать место посадки при возвращении на Землю. Следует взять паяльник и другие инструменты. «Мало ли что может случиться в дороге».

* * *

Говорят, что все проверяется временем. Константина в этом убедило то, что брат вскоре «изменил» космосу. Его все больше привлекала романтика военной службы.

Началась война.

Мария Федоровна всплакнула, тревожась за старшего сына.

Через несколько дней вызвали в военкомат Петра Павловича. Отец ушел на фронт.

В сентябре почтальон принес короткое извещение: «Лейтенант Феокистов Борис Петрович погиб в боях с фашистскими захватчиками...» Из двух космических мечтателей в семье остался один.

Случилось несчастье с Константином в те самые летние каникулы, которые совпали с началом сурового лета 1942 года.

Фашисты подходили к городу... Выбор был сделан сразу.

Написал заявление, пришел в областной военкомат. Не взяли. Фашисты продолжали наступать.

Ушли из города и Мария Федоровна с сыном. Ушли, захватив с собой лишь маленький узелок.

В деревне Верхняя Хава остановились в крестьянской избе. Уставшая мать задремала у печки, а он сбежал, встретил группу военных. Покрутился вокруг них, разузнал, кто старший, и прямо к нему. Подполковник Юрышев сразу припомнил папеньку, который еще в Воронеже не раз появлялся в военкомате.

— Ладно, настырный, будешь разведчиком, и вот тебе первое задание. Надо пробраться в город и разузнать, много ли немцев там и где они располагаются. Смотри в оба, но будь осторожен.

Утром следующего дня отправился Константин в свою первую разведку. Шел полем, пять километров на виду у всех. Сказалась неопытность. Да и что он мог понимать в военной тактике в свои шестнадцать лет.

Осталось в стороне местечко Придача, где удерживали позиции наши войска. Потом начался подъем в гору. Константин прошел по знакомым улицам в дальний конец города, покрутился у здания, где толпились немцы. Решил, что это штаб, приметил места, где фашисты устанавливали свои орудия. А когда часовой схватил за рукав вездесущего паренька, заплакал.

Немец долго кричал на него, грозил дулом автомата и, видя, как растет испуг в детских глазах, издевательски хохотал.

И все-таки в этот раз Константину удалось убежать. К своим добрался без приключений. Сведения, которые он собрал, пригодились. Юрышев внимательно выслушал его, записал, сделал отметки на карте.

— А ты молодец, малыш! Из тебя получится настоящий боевой разведчик.

Во вторую разведку Константин шел уже не один. Давал, как говорят, «провозные» Кольке. Тот был года на два помоложе. Юрышев растолковал ребятам, что от них требуется, подсказал, как вести себя, чтобы не привлечь внимания фашистов, просил не задерживаться.

Увлечшись поиском новых данных о гитлеровцах, ребята не заметили, как попали в район пустынных улиц.

Казалось, уже все осмотрели и можно возвращаться к своим, когда Костю поманил к себе долговязый фашист с молниями на петлицах и на рукавах.

«Эсэсовец», — подумал Костя про себя и с независимым видом шагнул вперед.

Фашист больно ударил его по лицу и что-то закричал. Константин не мог разобрать его слов, да и не знал он немецкого языка. Понял одно — фашист страшно зол и угрожает ему. Потом подошел второй эсэсовец с крестом на груди. Он хотя и плохо, но говорил по-русски.

Одно слово немец повторял чаще других: «Шпион! Шпион!»

Потом фашисты долго таскали его по городу, били рукояткой пистолета по голове и все грозились пристрелить.

Остановились около ямы. Фашист поиграл перед его носом черным дулом пистолета, посканил желтые зубы и... нажал курок. Выстрел прогремел неожиданно. Острая боль обожгла подбородок и отозвалась где-то у затылка. Глаза заволокла темная пелена.

Очнулся он в яме. Было холодно и сыро. Сколько времени он пролежал в ней, сказать трудно. Попробовал приподняться. Удалось, но с большим трудом. Голова болела, шея тоже. Рубаха мокрая. Попробовал — кровь. Рядом, уткнувшись в землю, лежал человек. Он толкнул его, потом позвал тихонько:

— Дядь, а дядь...

Лежачий не отозвался.

«Мертвый», — подумал Костя, и от этой мысли стало жутко. С трудом выкарабкался наверх. Темнело. Вокруг ни души. Солдаты ушли, решив, видимо, что он убит. Где-то вдали продолжали громыхать взрывы.

Потом, словно из-под земли, появился Колька. Испуганный и озябший, он был похож на котенка. Они ничего не сказали друг другу. Да и что говорить. Надо скорее бежать, бежать к своим...

Это была его последняя разведка. Потом попал в госпиталь. Здесь-то и нашла сына Мария Федоровна.

* * *

...Кончилось лето. Кончилась и военная служба Константина. Мать увезла его в узбекский город Коканд, подальше от фронта. Там он окончил десятый класс, а в 1943 году приехал в Москву, поступать в авиационный институт.

В авиационный его не приняли. Нет, не потому, что не прошел по конкурсу. Просто опоздал. Посоветовали поступать в МВТУ.

Семестр за семестром шла учеба. С жадностью слушал Константин лекции по механике и физике.

Учился он вдумчиво.

Когда стали читать теорию движения ракет, учеба предстала в ином свете. Сколько интересного было в этой науке, и столь близка была она к его юношеской мечте, что он всего себя без остатка отдавал новому предмету. А сколько книг он перечитал по этим самым двигателям! Знал всю историю от Циолковского до наших дней.

В общегитити их было пятеро: Павлов Борис, Коговцев Иван, Бондарчук Леонид, Ануфриев Владимир и Константин. Все пятеро с одного курса, из одной группы. Все пятеро одержимых, влюбленных в свою будущую специальность «до мозга костей». До поздней ночи слышали стены маленькой студенческой комнаты споры о ракетах и космосе, о звуковых скоростях и межпланетных полетах, о квантовой теории и кибернетике.

После защиты дипломного проекта Константин получил назначение на завод в Златоуст. Мечты о космосе разбились на обычные будни обычного завода. Ну, что тут будешь делать? Бежать, искать заветную дорожку? А как же долг, совесть? Нет, он не мог оставить завод.

Ушел в работу весь, с головой. Производственные дела у коллектива шли незavidно. Количество сдаваемой продукции не соответствовало возраставшему плану. А от завода требовали все больше и больше изделий. И вот тогда родилась в конструкторском бюро идея автоматической линии. Претворяли ее в жизнь инженеры с практиками вместе.

Не жалея ни сил, ни времени, Константин «колдовал» с товарищами над схемой линии.

Перед пуском автоматической сутками не уходили с завода.

Ребята ходили как шальные, едва держались на ногах. Комсомольцы притащили в цех огромный плакат «Даешь автоматическую линию!». Легко сказать: даешь. Недоделок уйма, а сроки поджимают. Да и опыта не было. Ведь впервые пускали автоматический цикл. И все-таки «дали».

* * *

Потом пришло извещение, что его приняли в аспирантуру. Последние дни на заводе все сильнее чувствовал подбирающуюся к сердцу тоску. Жаль было расставаться с теми, кто помог ему получить первую трудовую закалку, помог вникнуть в ритм производства.

В Москве состоялось знакомство с его новым учителем. Научным руководителем был у него известный академик, один из зачинателей отечественного ракетостроения. Еще до их первого знакомства он много слышал о нем и читал. Сотрудник ГИРДа, конструктор первых ракетных ЖРД, крупный теоретик... Под началом такого можно многому научиться, многое познать.

Как начался путь в большую науку. Однажды академик вручил ему маленькую книжонку:

— Прочитайте, Константин Петрович. Любопытная вещь, при том уникальный экземпляр. Мне его подарил Константин Эдуардович.

Константин держал в руках одну из тех книг, которые были изданы в Калуге много лет назад на средства К. Э. Циолковского. С волнением листал он страницу за страницей, внимательно просматривал формулы и расчеты, и перед ним все с большей отчетливостью рисовались проблемы лунного полета, полета его мечты.

Отечественное ракетостроение шло уверенно вперед, наглядно показывая, что потенциальные возможности ракет грандиозны. Это блестяще подтверждалось рядом экспериментов, когда с целью изучения состава, плотности и температуры верхних слоев атмосферы в Советском Союзе начиная с 1949 года запускались исследовательские и метеорологические ракеты с различными приборами. В специальных капсулах поднимались собаки и опускались затем с помощью парашютов.

Стала ясна возможность в самое ближайшее время широко использовать ракеты в интересах познания окружающего Землю мира и для полета на другие планеты солнечной системы. Именно эта сторона привлекала внимание Константина. После защиты диссертации он попал в один из институтов Академии наук. Здесь тоже занимались созданием необходимых сложнейших комплексов для изучения космического пространства.

4 октября 1957 года стартовала ракета, которая вывела на орбиту вокруг Земли первый в мире искусственный спутник. С этого дня Константин Петрович еще больше поверил в реальность своего плана. Он перестал быть далекой юношеской мечтой. Да и сам ученый вышел уже из того возраста, когда только мечтают. Он научился сочетать высокий полет теоре-

тической мысли с практикой жизни. Когда-то абстрактная схема звездного неба уже превращалась в штурманскую карту звездолетов.

Советские конструкторы создавали замечательные корабли. Он был знаком с их устройством, знал возможности. Свидетельство тому — два ордена Трудового Красного Знамени, которыми наградила его страна за развитие науки и техники.

Ученых нельзя назвать фантастами. Они живут научным предвидением. Каждый из них, кто работает в области космоса, мысленно достиг Луны и Марса. Константин Петрович тоже «побывал» там. И все же подвиг Юрия Гагарина потряс и его — работника науки. На практике совершилось то, к чему был подготовлен ум, что испытывало сердце. В космос проникли уже не одни только механизмы, какой бы совершенной ни была их автоматика, уже не только растения и животные с Земли, но и сам мыслящий мозг, человеческая воля.

Корабль «Восток»... Был он вехой и на пути ученого. Все вроде было сделано, все проверено. А как проявит он себя там, в полете? Телеметрия соберет и передаст на Землю многие данные, многое расскажет пилот-космонавт. Многое... но не все. Все прочувствовать можно только самому. Он должен лететь.

Так и начался этот путь в космос. Он доказывал необходимость включения в экипаж ученого. Прямо сейчас, на первом этапе. Доказывал страстно, горячо, убедительно. И выдвигал это не как идею — сама по себе она не нова, а как программу научного поиска.

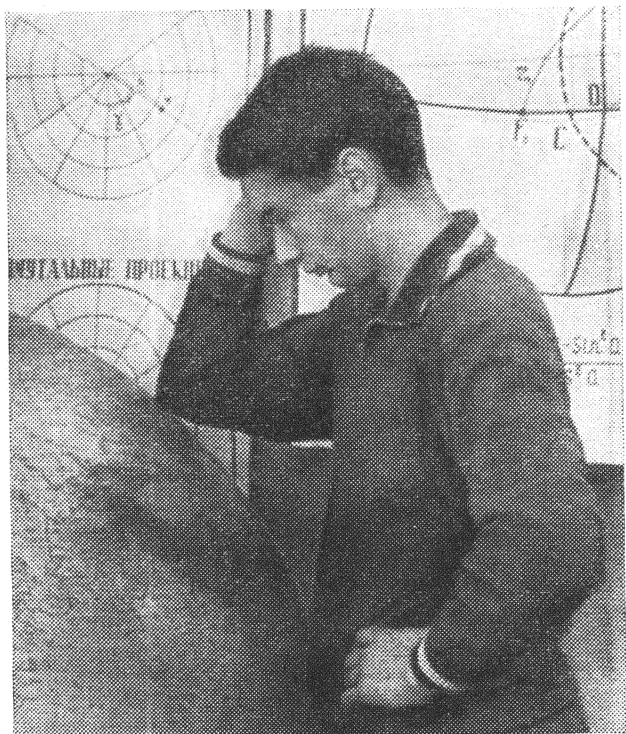
Себя не выпячивал, хотя и были крылья у его мечты. Пусть не обязательно он, пусть другой ученый или конструктор, пусть кто-либо из его товарищей, коллег. Но если позволят ему, он готов.

Не сразу получилось все, как хотелось. Не потому, что не приняли его предложение. Об этом думали и знали раньше. Это должно было быть закономерным этапом на «космическом пути», этапом, без которого трудно продвигаться дальше. Но тогда, в 1961 году, не было еще условий. Многое было не ясно. На первый полет визу давали железная сила вытренированных мускулов, выносливость организма, летные навыки. Вот почему первыми право на полет получили летчики.

В ожидании решения Константин не сидел сложа руки. Он работал, работал много. И в то же время готовил себя. Ему удалось испытать невесомость в полетах на специальных самолетах. Он прошел цикл тренировок. Он упрям хорошим упрямым, он добивался своего.

Он был в звездном полете, в составе экипажа корабля «Восход». Стало быть, сегодня сбылась мечта, к которой он шел почти четверть века.

Еще вчера полет троих в одном космическом корабле мог показаться фантазией... Сегодня — это реальность дня. Помните слова великого Горького: «Все на Земле создано напряжением нашей воли, нашей фантазии, нашего разума. Необходимо, чтобы человек сказал себе: я могу! Не нужно бояться дерзости или безумства в области труда и созидания...»



ВРАЧ С ГОЛУБОЙ ПЛАНЕТЫ

Кто же тот, третий, из экипажа легендарного корабля «Восход»? Кто он, кого мы называем «космическим врачом»? Каким путем пришел он в космос?

Мы разговаривали с ним незадолго до старта. Электропоезд шел в Москву.

Он начинает не сразу. Слова произносит отрывисто, словно отрезает.

— Семья наша медицинская: отец — хирург, мама была глазным врачом. Она у нас была очень веселая, добрая и все умеющая. Лечила людям глаза, а очень любила математику. Знала три иностранных языка. Выучила сама. «Потрудишься — научишься», — любила она повторять народную поговорку.

Мама хорошо рисовала. У нас дома много ее картин. Любила петь и играть на пианино.

Она умерла, когда мне было четырнадцать лет...

Он помолчал.

— Однажды ночью мы бродили с отцом по городу, по старым московским переулкам, — продолжал он после некоторого раздумья. — Блестел мокрый асфальт. Фонари светили в мгlistом воздухе. Тогда я спросил отца: «Как мне быть?» Он добродушно рассмеялся: «Выбирай сам!» — а потом добавил: «Да велика ли твоя жизнь? Подожди, не торопись, до всего очередь дойдет. Подрастешь немного и решишь сам... Поступай, как хочешь, только учись хорошо и в люди выйдешь».

Отец не раз рассказывал о своем трудном пути. Это была тяжелая и суровая школа жизни. У мамы она была не легче.

Может быть, ее увлечение точными науками передалось и Борису. Правда, не в теоретическом, а прикладном виде. Мастерил радиоприемники и различные устройства. Хотелось, чтобы за него все делали автоматы...

На столе, над кроватью и везде, где только можно, монтировал кнопки и тумблерчики для того, чтобы радио и свет можно было включать, не вставая с дивана. Дверь и окно открывали специальные моторчики, даже ящик стола выдвигался и задвигался по «желанию» владельца. Ребята говорили: «Комната лентяя». А ему нравилось. Правда, хаос кругом был страшный.

— Когда учился в десятом классе, собрал телевизор на восьми лампах. Качество изображения было неважным, слабым, зато телевизор получился легким и маленьким.

После школы подал документы в медицинский. Почему? Сам не знаю. Ребята говорили:

«Зря ты, Борис, пошел в медики».

«Это почему?» — спрашиваю.

«Ну, что хорошего с трупами возиться? Пенициллин больным прописывать? То ли дело — радиоэлектроника. Кибернетические машины строил бы».

Но я твердо верил, что с техникой кончено. Даже телевизор свой подарил товарищу. Твори, мол, дальше, я по врачебной стезе пойду...

Так думал тогда. Но ошибся. На лечебном факультете было много интересного. Ребята занимались в разных кружках, днями и ночами пропадали в анатомичке, а меня потянуло на кафедру физики. Там под руководством профессора Левинцева студенты-старшекурсники колдовали над созданием медицинского оборудования.

Это было по душе Борису. Представьте: радиотехника и медицина. Что может быть интереснее? А главное — простор.

Каких только аппаратов не придумывали! Идеи рождались каждый день. А вот с воплощением их было трудновато: то одной детали не хватало, то другой.

Собрал как-то профессор студентов и предложил:

— На кафедре вам тесновато, ребята. Вот рекомендательное письмо в НИИ медицинских инструментов и оборудования. Кто хочет, может туда пойти.

Желающие, конечно, нашлись. Ну и Борис тоже пошел. Встретили студентов хорошо. Да и простору для «дерзаний» там было больше.

В те времена частенько Борис задумывался над тем, что же его больше влечет: инструментальная медицина или обычная, клиническая. Выбрать не так-то просто. Много интересного есть и там и там.

Борис пошел третьим путем. Поманила и увела за собой космическая медицина. Сейчас уже забылось, с чего это началось. Кажется, была заметка в журнале. Запоем читал статьи о физиологии и психологии высотных полетов, перегрузках и невесомости. Говорят, у каждого есть призвание. Нужно только найти его.

Помог случай, а вернее, один знакомый. Перешел тогда Борис на шестой курс. План был такой: работать и учиться. Поначалу все казалось простым. Отсидел на лекциях или отдежурил в клинике, а потом — до ночи в научно-исследовательском институте. Там и учебник можно почитать и конспекты полистать. Но легко давать себе обещания и труднее выполнять их!

Навсегда запомнилась Борису зима 1961 года — тогда шла подготовка космического полета. Отобранные для первых рейсов кандидаты в космонавты проходили тренировки в сурдокамере. Борис Егоров дежурил у регистрирующих приборов. Рядом, за толстой, звуконепроницаемой дверью находился будущий командир звездного корабля. Испытание на длительное одиночество. Проходят сутки за сутками. За стеной кипит жизнь, а туда не проникает снаружи ни один звук. Точно по расписанию выполняли космонавты задание психологов, работали с красно-черной таблицей. А Борис все думал, как трудно, должно быть, оставаться наедине с самим собой.

Валерий Быковский проходил эксперимент первым. В маленький глазок и на экранах телевизоров было видно, как он расхаживал, меряя шагами короткое расстояние от стены до стены. Тогда-то Борис слышал, как читает стихи Герман Титов, певучий голос Павла Поповича.

В лаборатории все время жили ответственность и тревога. Ответственность за качество эксперимента. Тревога — за человека, который там, за стеной. Ведь это были первые эксперименты.

Работа увлекала. Электрофизиология, которой Егоров начал заниматься серьезно, открывала новые горизонты в науке, ее границы каждый день раздвигались, и порой казалось, что за ними лежат своего рода неведомые страны, которые ему предстоит еще открыть.

Каждый день он приходил в лабораторию. По вечерам, когда кончался рабочий день и большинство сотрудников уходило, в институте все менялось. Будто тишина оставалась хозяином всего. Набирал груды отчетов и зачитывался ими до поздней ночи. Тишина и безлюдье помогали сосредоточиться, и наедине с томами и папками Борис предавался размышлениям.

Все больше сужался круг интересующих его проблем. Путь был окончательно избран. Говоря научным языком, он стал заниматься вопросами полиэффекторной оценки состояния ре-

цепторов вестибулярного аппарата. Того самого аппарата, который столь подвержен влиянию невесомости. Помните полет Титова? Тогда об этом писали много.

Вредна или нет длительная невесомость? Как найти ответ?

И в чем трудность — пока еще врачи в космических полетах не принимали участия. Правда, они незримо «присутствовали» в кабине корабля в виде датчиков телеметрии. Но ведь датчик всего не расскажет.

С жадностью набрасывался Борис на все новинки. Выискивал в библиотеке журнальные статьи, посвященные проблемам космической медицины. Но работа требовала гораздо большего теоретического багажа. Снова надо было садиться за книги, вспоминать физику и электротехнику, да и другое. И не только вспоминать, но и продвигаться дальше, на новую ступень.

Перед окончанием института Егорова назначили младшим научным сотрудником. А вскоре включили в группу врачей-парашютистов, которые должны были обследовать космонавтов на месте приземления. Легко сказать: врач-парашютист. Первым Борис уже стал, а вот вторым...

Когда над головой появился купол и вместо безудержного падения начался плавный спуск, парашютизм предстал для Бориса совсем в ином свете. Понравилось. Почувствовал, что куполом можно управлять и падать не куда-либо вниз, а точно в заданное место. Правда, встреча с землей была менее приятной. От сильного удара болели ноги. Сказалась неопытность. Зато в последующих прыжках он уже научился мягко амортизировать и очень сожалел, что цикл обучения состоял только из десяти прыжков.

Когда должен был лететь в космос Юрий Гагарин, группа врачей-парашютистов — в их числе и Егоров — находилась на одном из далеких аэродромов. Ждали сообщения со старта. Время тянулось медленно, и, чтобы как-то скоротать его, стали играть в футбол: десантники на летчиков. А тут команда — лететь! Штурман на ходу забросил портфель с картами в самолет, все буквально в секунду протиснулись в бортовой люк. В салоне началось такое, что трудно передать. Два кавказца из десантной команды выплясывали лезгинку, да так, что все ходуном ходило. А первый пилот кричал в эфир: «Ура! Ура!»

Нарушение, конечно. Не положено такое в полете. Но ведь радость была неудержимая.

Потом стартовали в космос Титов, Николаев, Попович, Быковский и Терешкова. И снова группа разъезжалась по «точкам».

По данным телеметрии, переданным с борта корабля, врачи должны были делать анализ состояния космонавта и докладывать в пункт управления полетом.

В полетах регистрировалось все: биотоки сердца — снимается электрокардиограмма, биотоки мозга — электроэнцефалограмма, давление крови, пульс и многое другое. Это позволяло заметить самые незначительные отклонения от нормы. К счастью, их не было.

Дежурили круглосуточно. После смены ребята уходили утомленные, с посеревшими от бессонной ночи лицами.

Более детально и глубоко телеметрические данные обраба-

ывались после полетов. Работы хватало. После каждого космического рейса врачи получали огромное множество данных. Бориса больше всего интересовали рецепторы вестибулярного аппарата. Стал писать диссертацию. Ее и собирается теперь защищать.

У Бориса глаза очень интересные: небольшие, серые, с четко очерченными бровями. Так, ничего особенного. А вот сколько вы ни говорили бы с ним, он ни разу не отведет их в сторону. Такие глаза, наверное, могут часами следить за пляшущими кривыми самописцев, бегом осциллограммы, дыханием точнейших приборов. В них, глазах его, любопытство и какой-то едва уловимый детский восторг...

Лицо у него волевое, крутой изгиб губ, подвижные брови, короткая стрижка. Борис — научный сотрудник. А улыбнется — студент студентом. Видимо, не отстоялось еще то самое, учебное. Может, его и не надо слишком, а все-таки без него не обойтись: скоро диссертацию будет защищать.

Он уже имеет немало научных работ, в институте его считают способным и добросовестным работником. Несмотря на молодость, ему доверяют многое. Знают, что справится. Он награжден значком «Отличник здравоохранения».

Борис любит футбол. Когда речь заходит о последнем матче «Спартак», он грустно улыбается, слегка сдвинув разлет бровей, вздыхает с сожалением:

— Обидно за ребят. Одни нули! Лет десять такого не было.

Детство его промелькнуло в Москве. В пионеры принимали его в 167-й московской школе, что на Дегтярном. Потом он был звеньевым в пионерском отряде.

В 1952-м ему вручили заветную книжечку с силуэтом Ильича. Тогда же его назначили пионервожатым в младших классах. Ребята души не чаяли в новом вожатом. Он и в музеи их водил и в кино, вместе с ними играл в футбол, помогал отстающим, был строгим и добрым. А попросту — справедливым.

Может быть, именно за эти качества студенты курса избрали его комсомольским секретарем.

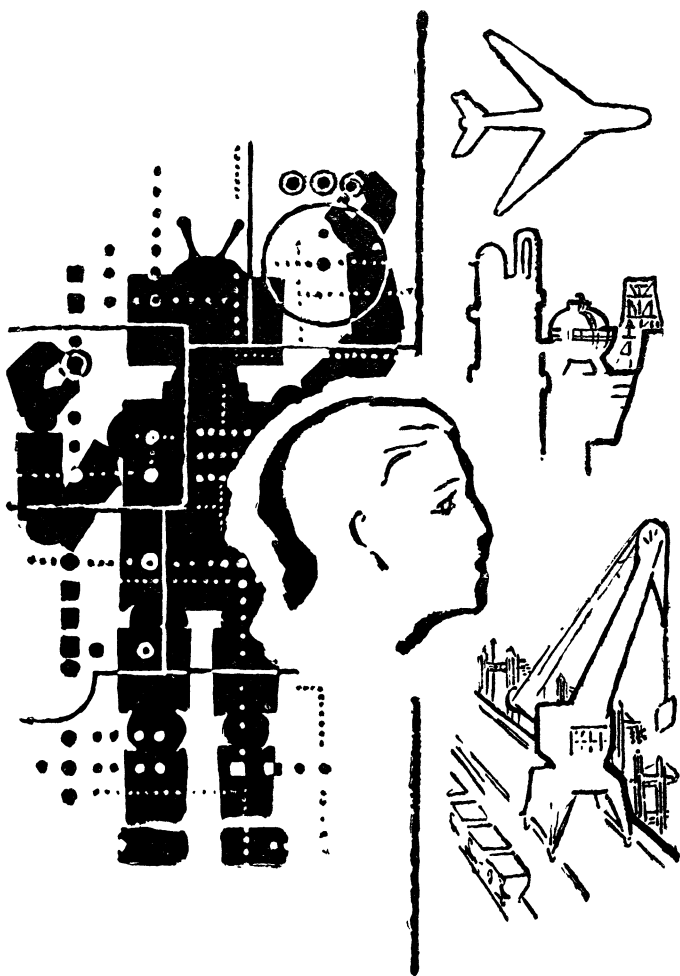
В институте не помнят соревнований без его участия. Как-никак председатель альпинистской и горнолыжной секции, да и в ручной мяч здорово играл. В кубке Москвы участвовал.

Пять лет он учился вместе с Элеонорой Мордвинкиной, а потом они поженились...

У них маленький сынишка, который носит имя отца и деда. Третий Борис родился весной 1962 года, а второй в это время был на XIV съезде комсомола.

Последнее время мы все чаще и чаще произносим слово «космонавт». Порой ему придается какой-то узкий смысл. А ведь это неверно. История, искусство, радиотехника и медицина, ракеты и электроника, метеорология и спорт, поэзия и астрономия, биология и геофизика... Все это нужно человеку новой профессии. Вот что такое космонавт.





НАУКА -
- ПОИСК

ЧЕЛОВЕК ЗА ПУЛЬТОМ

Вместо предисловия к этому репортажу можно вспомнить историю, ставшую в кругу кибернетиков своего рода притчей. На заседании правления одной из зарубежных фирм обсуждался проект нового управляющего устройства. Машина должна была обладать многими уникальными свойствами, а потому авторы проекта не скупясь обещали большой вес, внушительные габариты и высокую стоимость создаваемого электронного «мозга». На сооружение машины предполагалось затратить около полутора лет.

Обсуждение заканчивалось, когда председатель правления без особой надежды задал присутствующим традиционный в таких случаях вопрос: нет ли более простых предложений? И вдруг после продолжительной паузы поднялся один из молодых инженеров.

- Сколько будет весить ваша машина? — спросили его.
- Примерно восемьдесят килограммов.
- И когда вступит в строй?
- Через два-три месяца.
- Что же это за устройство?
- Человек, шеф...

Трудно утверждать, насколько достоверна эта история. Но даже сам факт ее существования уже говорит о многом. И вот почему...

МАШИНЫ НАСТУПАЮТ, НО...

С оговорками или без них, но подчас еще можно услышать мнение, что непрерывно совершенствующиеся машины со временем полностью заменят людей, вытеснят человека из сферы производства или даже подчинят его своей «железной» логике. Автоматика делала только первые шаги, когда известный чешский писатель Карел Чапек «поднял» восстание роботов против человечества на страницах знаменитой пьесы «R. U. R.». И уж совсем не случайно в наши дни — дни стремительного развития кибернетики — американский ученый и фантаст Айзек Азимов в цикле своих рассказов «Я, робот» призывает на защиту человека специальный свод законов поведения «мыслящих» машин, открывающийся категоричным «робот не может причинить вред человеку».

Восхищение грядущим совершенством машин и страх перед

их могуществом нередко рука об руку шагают по страницам произведений, повествующих о завтрашнем дне человечества.

Как же будет на самом деле? Что думают по этому поводу ученые, уже сегодня создающие все более и более «умные» автоматы?

Сегодня совершенные кибернетические устройства неумолимо вторгаются в область, еще вчера считавшуюся монополией человека и его разума, — они начинают управлять. Не только отдельные механизмы или процессы производства — целые цехи и даже заводы сейчас уже подчиняются четким приказам автоматики. И это понятно — со многими задачами управления «думающие» машины с их быстродействием, обширной памятью и четкой логикой справляются несравненно лучше, чем человек. Значит ли это, что со временем следует переложить все командные функции на плечи машин, оставив за человеком лишь право определять законы их поведения при конструировании и контролировать результаты работы? Где и как он должен будет проинести свое «последнее слово»? Как разделить командные обязанности между человеком и машинами?

Все эти и подобные им вопросы и составляют сущность одной из актуальнейших проблем науки — проблемы «Человек и автомат». Целый комплекс работ, связанных с ее решением, был проведен в Институте автоматики и телемеханики, в лаборатории, которую возглавляет известный советский ученый, доктор технических наук, профессор Александр Яковлевич Лернер. О некоторых из этих работ и пойдет ниже речь. Но сначала слово самому ученому.

— С точки зрения кибернетики человек с его сознанием и психикой сам по себе является весьма совершенным «устройством», — рассказывает профессор Лернер. — Например, наше ухо способно выделить из громадного потока музыки ее тончайшие нюансы, мы легко узнаем в толпе людей знакомое нам лицо, а опытные красильщики различают до ста оттенков одного цвета. Для машины это пока совершенно недоступно.

Или взять, например, такую способность человека, как умение предвидеть, предугадать ход или направление событий. Этим своим качеством мы пользуемся сплошь и рядом. Человек, севший в автобус и не взявший билета, достаточно точно может представить, чем грозит ему встреча с контролером. Рабочий, вытаскивающий деталь на токарном станке, отлично знает, к чему приведет его неверное движение. А опытный ученый в целом ряде случаев может предугадать не только ход и результаты поставленного эксперимента, но и, например, основные этапы развития той или иной отрасли науки. Машины же пока лишены способности предвидеть результат своих собственных действий. И если они безошибочно выполняют ту или иную работу, то только потому, что создавшие их люди заранее предугадали нежелательные ситуации — те «риффы», которые могут встретить машины на своем пути, — и в какой-либо форме указали на них машинам.

Все эти примеры я привел лишь для того, чтобы показать, какой высокоорганизованной с точки зрения кибернетики «машиной» является сам человек и почему в системе управления мно-

гие функции лучше всего может выполнить только он. Но вот как правильно распределить командные обязанности между ним и машиной — на этот вопрос ответить значительно труднее.

Правда, есть две группы задач управления, если так можно сказать — противоположных по содержанию, где вопрос решается однозначно: либо в пользу человека, либо в пользу машины. Здесь достаточно вспомнить, как уверенно справляется человек с управлением автомобилем в условиях даже такого города, как Москва с ее многолюдными улицами и нескончаемыми вереницами транспорта. Создать же столь совершенного и компактного водителя кибернетикам пока не под силу.

Точно так же противоположная группа задач управления «отдает предпочтение» автоматам. Там, где требуется исключительная быстрота реакции, где высокие температуры, ядовитые испарения, неоднократные перегрузки или вибрации делают невозможным пребывание человека или, наконец, где требуется чрезвычайно большая точность, в этих случаях вопрос однозначно решается в пользу технических устройств.

Но между этими легко определяемыми группами задач лежит обширная область рабочих процессов, которые, казалось бы, могут быть с одинаковым успехом подчинены как человеку, так и «машинам». И вот здесь-то произвести «раздел территории», решить вопрос либо в пользу человека, либо в пользу машины — задача не из легких. Правда, на первый взгляд ключ к решению кажется простым: то, что лучше может делать человек, должен делать человек; то, что лучше может делать автомат, должен делать автомат. Но это простое правило сразу превращается в сложное, как только мы пытаемся оценить, что значит «лучше» и что такое «хуже».

В ПОИСКАХ ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ...

Багровыми языками выбрасывается пламя из круглых амбразур смотровых окошек. Пузырится сталь под темно-вишневой коркой шлака. Гудят вентиляторы, поддерживая дыхание бушующего огня, стальная «рука» загрузочной машины несет в печь новую порцию скрапа, а разливочные ковши застыли в ожидании очередной плавки. И вся эта армия сложных технических устройств беспрекословно подчиняется приказам одного человека — мастера мартеновского цеха.

Громадную работу проделывает за смену этот человек. Мало того, что мастер бдительно следит за ходом самой плавки, ему приходится учитывать и работу смежных цехов, и загрузженность заводского транспорта, и очередность подачи сырья, и тысячи других, казалось бы второстепенных, причин, от которых зависит успешная работа цеха. Все это сливается в огромный поток информации, которую мастер должен обработать и на ее основе принять то или иное решение.

И мастер принимает решение. Но вот вопрос: лучшее оно из всех возможных или нет? В большинстве случаев — нет, не лучшее. Человек просто не в силах за то короткое время, что отпущено ему рабочим ритмом цеха, обработать наилучшим образом такое большое количество информации и принять самое наи-

выгоднейшее, оптимальное решение. Ясно, что, будь на месте мастера электронная машина, она бы с этой задачей справилась намного успешнее. И не только благодаря своему быстрдействию и обширной памяти — машина может работать непрерывно.

Проходит семь часов, и, закончив работу, мастер уступает свое место сменщику. Традиционный обход печей, последний взгляд на приборы, несколько коротких замечаний — и он покидает цех. А вместе с ним покидает цех и все огромное количество полученной им за смену полезной информации — практически только ее ничтожную часть он может передать заменившему его человеку. Естественно, что работающая без перебоев электронная машина свободна от этого недостатка. А поэтому и управлять цехом она будет значительно эффективней. Но... до определенного момента.

В цехе возникла критическая ситуация — по какой-то причине нарушился заданный ход плавки в одной из печей. Опытный мастер может узнать об этом даже без помощи приборов — по едва изменившемуся цвету пламени, по тому, как вспучилась корка шлака или изменился ритм вскипающих пузырьков газа. Конечно, то же самое подскажут ему приборы. Ну, а машина — ей о нарушениях в работе печи «донесут» чуткие датчики. Но вот в том, как поступят вслед за этим машина и человек, есть большая разница.

Машина получила задание выпустить плавку определенного качества. И она будет всеми силами стараться это задание выполнить. Неудержимая в своем стремлении, она увеличит продолжительность плавки, нарушит порядок загрузки сырья, поломает график работы заводского транспорта. А все это в конечном счете может привести к тому, что нарушится ритм работы всего предприятия, снизится выпуск всей продукции.

Опытный мастер поступил бы в этом случае иначе — он постарался бы выпустить плавку в срок, хотя при этом получил сталь несколько иного качества. Сохранился бы неизменным четкий ритм работы цеха и завода, а металл требуемого качества можно было бы сварить завтра или послезавтра. Подобное решение, несомненно, выгоднее для предприятия — ведь оно, как правило, выпускает не одну марку стали. Значит, и та плавка не пропала бы.

Простой пример, но даже здесь трудно решить, кому отдать предпочтение. В одних ситуациях преимущество остается за машиной, в других — за человеком. Как быть? Создавать машину, которая могла бы, подобно мастеру, решать задачи управления в более широком масштабе? Да, в принципе такую машину создать можно. Но когда решаются практические задачи управления, понятие «принципиально возможно» неизбежно сталкивается с вопросом: целесообразно ли?

Ни для кого не секрет, что чрезмерное увлечение автоматикой на определенном этапе развития техники может оказаться столь же вредным, как и недооценка ее возможностей. Есть целый ряд таких процессов управления, которые просто невыгодно даже с точки зрения экономики отдавать «на откуп» машинам — эти машины оказались бы необычайно сложными, громоздкими и дорогими. А отсюда следует единственно правильный вывод: не

разделять «территорию» процессов управления по принципу «либо человек, либо машины», а найти наиболее выгодное сочетание возможностей как одного, так и других.

— И вот здесь мы неизбежно наталкиваемся на «белые пятна», которые связаны с психологией человека, — продолжает свой рассказ профессор Лернер. — Как, в какой момент и каким образом человек должен вмешаться в работу автоматики? Ответить на этот вопрос довольно трудно хотя бы потому, что мы еще недостаточно знаем все возможности человека. Машины мы можем разобрать, что называется, по винтику и в совершенстве изучить их законы поведения. Но вот как поведет себя человек в той или иной ситуации — это мы можем предсказать не всегда. Здесь важное слово должны сказать ученые-психологи, с которыми мы работаем в тесном союзе...

Вчера человек управлял станками, сегодня операторы командуют автоматизированными заводами и цехами, завтра они сядут за пульты управления мощных промышленных, энергетических или транспортных систем. Вырастет роль человека — командира машин, а с нею — и его ответственность за правильно принятое решение. И вот здесь задача ученых формулируется весьма точно: нужно вовремя предупредить человека об изменении обстановки, дать ему возможность принять правильное решение и немедленно поправить неверно выполняющие работу машины.

ЦЕНА „ГОЛУБОЙ КАЕМОЧКИ“...

Огромные пульты с сотнями приборов, вереницами сигнальных ламп и бесчисленным количеством световых табло глядят на нас с иллюстраций романов о будущем. И вся эта прыгающая, вспыхивающая и мигающая армия огней и стрелок нужна лишь для одной цели — предупредить оператора, сообщить информацию о работе подчиненных ему машин. Впрочем, нужна ли?

Действительно, для того чтобы оператор имел все данные о работе, например, каскада электростанций, на пульт управления нужно свести десятки и даже сотни приборов. Как говорят кибернетики, получаемая человеком информация должна быть необходимой и достаточной. «В переводе» же это означает, что все необходимое для эффективного управления должно быть на пульте. Здесь ученые непреклонны — ни один прибор, ни одну сигнальную лампу исключить нельзя. Что же касается лишних приборов, только затрудняющих работу оператора, то их необходимо убрать.

— Это правило, — говорит профессор Лернер, — не исключает возможности такого решения, когда информация о работе каких-либо промышленных агрегатов получает не оператор, а помогающая ему электронная машина. В идеале можно представить себе даже такую систему, где все командные обязанности выполняет подобная машина, а оператору она лишь сообщает либо «все в порядке» — и на пульте горит, например, зеленый глазок, либо «что-то случилось» — и на пульте вспыхивает красная лампа.

Неискушенному человеку такая система и впрямь может показаться идеальной, — продолжает Александр Яковлевич. — Но

в действительности хорошо работать оператор в таких условиях не сможет. Немыслимо в течение всей смены смотреть на одну зеленую лампу и наслаждаться одним зеленым светом. Такова уж наша особенность — мы не можем жить без впечатлений. Жизнь идет, где-то работают машины. И оператор, управляющий ими, должен чувствовать дыхание, ритм этой жизни. Тогда, сознавая все время значимость своей роли, он будет чувствовать себя активным участником этой жизни, будет все время находиться, что называется, в боевом состоянии. Как этого достичь? Пока трудно дать окончательный ответ — слишком много еще предстоит сделать, прежде чем нам удастся получить наиболее совершенное решение. Но об одном из возможных вариантов такого решения я хочу рассказать...

Пульс жизни... По переходам шагают пешеходы, спешат вереницы автомобилей, вспыхивают и гаснут яркие огни светофоров — во всей ее динамике видит жизнь улицы водитель авто. Здесь совсем не то, что, допустим, на загородном шоссе ночью, где унылая, бесконечная лента асфальта невольно навеивает сон. Тут на секунду отвлечься подчас невозможно: неиссякаем ритм жизни улиц большого города. Вот в таком же динамичном виде и нужно подавать информацию оператору — тогда она будет выглядеть так, словно появилась на заветном «блюдечке с голубой каемочкой». Но как это осуществить «в металле»?

Прежде всего можно отказаться от всем хорошо известных световых табло, цифровых шкал и сигнальных лампочек. Самая динамичная картина «в переводе» на их язык очень быстро превращается в утомительную и однообразную. Да и разместить, например, лампочки на пульте не так-то просто — из плотной массы огней оператору трудно будет выделить нужный сигнал, а стоит разбросать лампочки по всему пульту — и он не сможет охватить их взглядом. И исследователи пришли к выводу, что лампочки можно с успехом заменить экраном с непрерывно меняющимся «живым» изображением. К этому изображению предъявляют жесткие требования — оно должно быть динамичным, четким, понятным и без лишних деталей, затрудняющих работу оператора. Казалось бы, неосуществимая задача? Нет, оказывается, и здесь есть выход. И притом довольно простой.

Азбука, цифры, дорожные знаки — все это условные изображения, к которым давно привыкли. Таким же условным можно сделать и изображение на экране, расположенном перед оператором. Например, нормальной работе подчиненных ему агрегатов на экране может соответствовать светящийся круг. Произойдет какое-либо нарушение режима — и круг стянется в восьмерку или треугольник. Автоматика справится с этим нарушением — и изображение вновь обретет законченные очертания окружности. Но если автоматы не справятся, то восьмерка или треугольник начнут вытягиваться в звезду. Оператор знает: еще мгновение — и звезда превратится в крест. А крест — это почти авария. И он спешит вмешаться в работу машин.

Простое, казалось бы, решение, но у него много достоинств. Глядя на подобное условное изображение на экране, оператор будет не только видеть, есть нарушения в работе или нет, но и знать, что эти нарушения из себя представляют. Перегрузке аг-

агрегатов может соответствовать, например, восьмерка, недогрузке — треугольник, перебоям в подаче топлива — полумесяц и так далее. Больше того, по тому, как будут меняться эти фигуры, можно будет судить о том, как серьезны нарушения в работе агрегатов, как далеко они отошли от нормального режима. Появятся, например, по бокам окружности две выемки — намек на восьмерку, — и это будет означать лишь незначительную перегрузку. Превратится изображение в толстую восьмерку — значит перегрузка увеличилась. И по мере того как эта перегрузка будет расти, восьмерка на экране будет сплющиваться. Просто, не правда ли? Трудно найти возражения против такого способа подачи информации оператору. Разве только сомнение — не надоест ли человеку смотреть на все эти простые фигуры?

— Думаю, что нет, — отвечает профессор Лернер. — Пожалуй, смотреть на них будет даже интересно. Нечто подобное мне пришлось увидеть в зале ожидания одного из аэропортов. Там под потолком были подвешены легкие цветные пластины самой различной формы. Воздушный поток заставляет их все время покачиваться, картина непрерывно меняется, и пассажиры с удовольствием наблюдают эту игру форм и красок...

Кстати, о красках. Изображение на экране можно сделать цветным, подобрав краски таким образом, чтобы они усиливали восприятие человека, помогали быстрее усваивать информацию, поступающую к нему с экрана. Достаточно вспомнить, насколько цветное кино выразительнее черно-белого. И вот здесь, раз уж разговор зашел о восприятии человека, нельзя не рассказать об одной из работ, сделанных в лаборатории, которую возглавляет профессор Лернер. И хотя эта работа была неразрывно связана все с той же проблемой «Человек и автомат», результатом ее было появление... установки световой музыки.

СВЕРКАЮЩИЙ МАРШ ТРУДА...

Тонет зал в волнах плавной мелодии — скрипки поют о далекой стране. И, вторя им, мягкие потоки света льются с экрана. Голубые, зеленые, изумрудные лучи подхватывают нежные звуки музыки — мир, спокойствие, тишина... И вдруг в светлый напев мелодии врывается четкая дробь барабана. Тревога! Ударил литавры, фанфары взметнули призывный клич, яркое пламя вспыхивает на экране. Оранжевые, пурпурные, багровые языки огня врываются в зал, навстречу музыке, навстречу слушателям. И, сливаясь воедино, трепетный свет и волнующий звук уносят далеко-далеко, в мир доселе невиданных впечатлений...

Световая музыка... Давно уже человек мечтал усилить выразительность своих мелодий, сделать еще доступнее и понятнее, помочь слушателям постичь их самые тонкие нюансы. И в поисках решения его взгляд не раз обращался к яркой игре красок, которыми так богат окружающий нас мир. Что, если призвать ее на помощь музыке, заставить усилить, подчеркнуть содержание музыкальных произведений? Ведь всю эту богатую гамму впечатлений, которая сопутствует нашей жизни, мы постигаем не только с помощью органов слуха — немало волнующего и прекрасного открывает человеку его зрение. Что, если заставить эти

замечательные «приемники информации» трудиться в тесном контакте?

Не все, может быть, знают, что у музыки света многовековая история. О возможной связи между звуками и красками задумывается еще Аристотель, этим вопросом интересуется Ломоносов, а Исаак Ньютон делает первую практическую попытку нащупать эту незримую связь. С помощью волшебницы-призмы он «расщепляет» яркий луч солнца в красочный световой спектр. Ученому он кажется очень похожим на музыкальную октаву. Но в октаве восемь нот, а в спектре всего семь цветов — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. И тогда Ньютон решает «перестроить» спектр, он выделяет в нем восьмой, условный цвет, которому дает название «индиго». Так и осталось это слово в языке человечества как свидетельство неудачной попытки найти связь между звуком и цветом там, где ее не существовало.

Шли годы, и вместе с ними все более упорными становились попытки человека проникнуть в суть этой связи. Десятки и сотни людей — музыкантов, ученых, изобретателей — отдавали дань этой идее. Ищет связь между звуками и цветом английский физик Майкельсон. Ее пытается найти физиолог Бехтерев. Большое внимание уделяет световой музыке композитор Скрябин. Одновременно с музыкой «Прометея» он пишет световую партитуру к этой бессмертной поэме, строит специальную приставку к роюлю, унизанную вспыхивающими цветными лампочками. Но осуществить свой замысел до конца композитору так и не удалось. Только в наши дни «Прометей» зазвучал в сопровождении волнующей гаммы цветных лучей. И авторами одной из созданных у нас в стране установок световой музыки, с помощью которой осуществлялась мечта Скрябина, был коллектив во главе с профессором Лернером и инженером Леонтьевым.

Правда, для ученых создание установки музыки света было своего рода побочным продуктом. Ни успешные демонстрации этого устройства на выставках в Лондоне и Париже, ни восторженный прием в Концертном зале имени Чайковского в Москве не отвлекли их от основной цели — они стремились найти связь между зрительным и слуховым восприятием человека. Найти для того, чтобы призвать ее на помощь все тому же оператору, сделать еще четче «голубую каемочку» на том «блюдечке»-экране, с которого поступает информация о работе подвластных машин.

Трудно сказать, насколько глубоко ученым удалось проникнуть в суть этой связи — слишком тонка нить, соединяющая наши слуховые и зрительные органы, слишком далеко упрятана она в «недрах» нервной системы человека. Но уже те результаты, которые удалось получить, позволяют предположить, что в будущем операторы смогут получать информацию не только с помощью меняющегося изображения на экране — ему будет сопутствовать строгое светомузыкальное сопровождение, во много раз усиливающее восприятие человека.

Сегодня это может показаться фантазией, но кто знает, может быть, всего через каких-нибудь пять-десять лет вместе с известием о нормальной работе энергосистемы, охватывающей всю страну, на экране перед оператором вспыхнет зеленая гамма све-

та, а тишину поста управления нарушит плавная, спокойная мелодия. Произойдет нарушение в работе, синие волны побегут по экрану, а напевная мелодия уступит место бодрым ритмам марша. Ну, хотя бы всем известному «Эй, вратарь, готовься к бою!..». А если ситуация станет еще сложнее — экран возвестит о ней багровым пламенем, а в динамиках раздастся четкая дробь барабана, подобная той, что ведет солдат в атаку. Трудно, конечно, утверждать, что все будет происходить именно так. Но ученые постараются использовать все средства, способные облегчить работу оператора.

Впрочем, вряд ли сами операторы, о которых так заботятся ученые, подозревают, насколько капризен их нрав. Оказывается, результат работы оператора зависит не только от способов подачи информации, но и от темпа подачи сигналов. Современные автоматы могут за короткое время «выстрелить» в человека такое количество информации, что он просто-напросто перестанет что-либо понимать. И здесь его необходимо защитить от стремительных сигнальных лавин — либо уменьшить количество поступающих в единицу времени сведений, либо снизить темп подачи сигналов. Но опять же делать это надо осторожно. Если к человеку будет поступать слишком мало сигналов, внимание может ослабнуть, оператор утратит ощущение ритма в работе. А в результате неожиданно изменившейся ситуации оператор не сможет быстро реагировать на эти изменения. Словом, ритм изменений условных изображений на экране должен строго соответствовать физиологическим и психологическим возможностям человека.

ЧЕЛОВЕК ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ...

Пять приборов глядят с пульта — пять сеток делений с четкими цифрами, пять стрелок, застывших в прорезях шкал. Всего пять приборов, и ниже — две рукоятки. Похожие на верньеры у радиоприемников. Серпантин цветных проводов тянется от пульта к пирамиде блоков электронной машины, чутким самописцам, к магнитофону. Это испытательный стенд.

Человек садится за пульт. Простое задание — удержать стрелку центрального прибора у красной черты. Задание понятно? Понятно! Можно начинать. Внимание! Пуск!.. И сразу же электронная машина, в блоках которой упрятана «модель» какого-то сложного рабочего процесса, «выбрасывает» на пульт первую порцию сигналов. Стремительно рванулись по шкалам стрелки боковых приборов, а на центральном все шире становится просвет между острием указателя и красной чертой: пора вмешаться в работу автоматам. Поворот правой рукоятки не помогает. Поворот левой — слишком резко: стрелки левых приборов готовы выпрыгнуть за обрез делений. Ошибка. Придется вернуться назад. Поворот. Еще чуть-чуть. Так уже лучше. Теперь надо «подправить» правой рукояткой. Так, хорошо. Еще чуть... Отлично!

Дрожит центральная стрелка у красной черты — режим выдержан. Но надолго ли? Машина-модель уже шлет на пульт новую порцию сигналов, ставит перед человеком очередную задачу.

Теперь все значительно сложнее — ни левая, ни правая рукоятки порознь не дают желаемого эффекта. Приходится работать сразу двумя. Не получается... Опять не то... Осторожнее... Вот так уже лучше... Еще чуть-чуть... Есть режим!..

Человек учится работать, учится управлять. Сегодня он подчинил «взбунтовавшийся» строй автоматов за двадцать минут, завтра на это ему потребуется всего пятнадцать, потом десять, пять, три. Постепенно ему откроются незримые нити, связывающие приборы и рукоятки с теми или иными нарушениями в рабочем процессе. И придет день, когда он будет справляться с самыми сложными задачами в каких-нибудь несколько секунд. Человек научится управлять. Но разве в этом цель эксперимента? Он будет повторен десятки и сотни раз. Потому что цель, ради которой построен испытательный стенд, ради которой один за другим ставятся опыты, значительно сложнее. Не так уж трудно научить человека решать задачи управления — значительно сложнее раскрыть спрятанный в его сознании «механизм обучения», познать, как, каким путем наш мозг приходит к тому или иному решению.

Человек принимает решение. Иногда медленно, с колебаниями, но чаще уверенно и быстро, он может решать самые сложные задачи. Даже в такой области, как математика, где быстродействующие электронные вычислительные машины, казалось бы, утвердили свое бесспорное преимущество, он подчас уверенно доказывает свое превосходство.

Авторитетное жюри необычных соревнований, состоявшихся в прошлом году во французском городе Лилле, было представлено не спортивными судьями — в него вошли крупнейшие специалисты в области физики, математики, кибернетики. Под стать жюри были и соперники, вступившие в единоборство: с одной стороны — французский математик Морис Дагбер, известный своей феноменальной способностью быстро решать в уме сложные задачи, с другой — новейшая электронно-счетная машина, производящая до миллиона операций в секунду. Перед началом соревнований М. Дагбер заявил, что он признает себя побежденным, если машина сумеет решить семь задач раньше, чем он десять. Форса существенная, но несмотря на нее человек оказался победителем — он решил все десять задач за три минуты сорок три секунды. Электронной же машине на семь задач понадобилось пять с лишним минут.

Случайный результат? Как сказать. Во всяком случае, многие крупные специалисты полагают, что нет. По их мнению, возможности человеческого мозга настолько колоссальны, что мы даже не можем себе представить. Но для того чтобы использовать эти возможности до конца, мало одной тренировки — необходимо познать все законы, по которым действует наш мозг, с помощью которых он быстро нащупывает решение самых сложных задач. Огромный интерес эта проблема представляет и для ученых, создающих автоматические системы, — ведь только познав этот «механизм» мышления, эти законы, они смогут найти правильное сочетание способностей человека и машин. Одним из шагов к решению проблемы и были эксперименты на испытательном стенде.

Опыты на испытательном стенде помогают ученым не только заглянуть в ход мыслительных процессов человека — наблюдая за его работой, они стараются установить наиболее рациональный темп подачи сигналов, получить наивыгоднейшее сочетание технических возможностей машины с физиологическими особенностями человеческого организма.

Наконец еще один, и притом не менее интересный, результат можно получить с помощью испытательного стенда. Дело в том, что чем больше человек работает за пультом, тем лучше он справляется с поставленной задачей. В конце концов он настолько хорошо усваивает все особенности подчиняющегося ему рабочего процесса, что начинает управлять им по закону, весьма близкому к наивыгоднейшему, оптимальному. А это очень важно.

Когда на практике заходит речь об автоматизации какого-либо сложного процесса, подчас оказывается, что вся трудность этого дела состоит не в сооружении самих машин, а в том, какой закон управления положить в их основу. Требования сегодняшнего дня таковы, что создатели автоматов, естественно, стремятся подчинить свои устройства наивыгоднейшим, оптимальным законам. Но вот найти эти законы — теоретически это сделать подчас просто невозможно. Десятки самых различных причин, каждая из которых, в свою очередь, зависит от многих факторов, влияют на ход процесса. И проследить их взаимозависимость не удастся даже с помощью самых совершенных математических методов.

Вот тут-то на помощь создателям автоматов и приходит человек за пультом испытательного стенда. В блоках электронной машины «строится» модель сложного рабочего процесса, который предстоит автоматизировать, и человек начинает учиться управлять им. Шаг за шагом постигает он сложное искусство оператора и, наконец, достигает совершенства. А в большинстве случаев это означает, что человек уже овладел законом управления, близким к оптимальному. Самописцы фиксируют этот закон. И теперь его можно положить в основу управляющего рабочим процессом автомата.

...Могучие реки обрушиваются на турбины многотонные водопады, языки пламени бушуют в топках теплоцентралей, бесшумно «рвется» материя в атомных котлах, рождая энергию в сотни тысяч киловатт. И всюду автоматика. Она открывает шлюзы плотин, швыряет в топки фонтаны нефти, следит за ходом цепной реакции. Она направляет потоки электричества в единое русло, имя которому энергосистема, и... подчиняется четким приказам человека-командира.





Рисунок П. ПАВЛИНОВА

Мы сидим у Охотского моря. Волны лениво шелестят по гальке. Пахнет иван-чаем, от него весь берег стал сиреневым. Вдали голубеет мыс, похожий на знаменитую крымскую Медведь-гору. И от этого сходства, от тепла камней, разогретой земли кажется, что ты и впрямь на Черноморье.

— Зимой я жил в поселке недалеко от Певска. Поселок — шесть домов. Общежитие, дом семейных, столовая с баней, пункт «Союзпушнины», рация. Я механиком работал.

Длинные светло-русые волосы Алексея прикрывают коричневую жилистую шею. Нос вздернут кверху и немного великоват. Глаза темно-серые, с диковатым зеленым оттенком. Смотрит он прямо и пристально. Но больше всего поражают пальцы рук. Длинные, в черных крапинках от вьвшегося масла, красные и обветренные, они бережно вытаскивают из голубой пачки сигарету и осторожно разминают ее.

— Жили мы тихо. Арктика в общем-то мирная, когда нет пурги. За каждого ответишь, кто, какой и чем дышит. На радию работал Потапов Юрка — видный парень, славослов. Дружил он с Николаем Мельченко. Николая после техникума прислали пушнину принимать. Было у него и еще одно поручение — развозил он почту и книги из библиотеки по ближним чукотским стойбищам. Ну, как сказать «ближним»? Километров за двести, триста. На собаках.

И вот однажды, в марте, уехал Николай утром, а через день упряжка вернулась. Однако какая упряжка? Три собаки с коренником. Постромки порваны. Прибегает ко мне Потапов. Надо, кричит, немедленно выезжать на поиски, мы обязаны помочь!

Собаки не скажут. Скулят. Смотрю я на коренника, у него в глазах какой-то испуг. Не просто так вернулся. Если каюк упал, оглянется коренник, увидит, нет человека — останавливает упряжку, ждет или обратно заворачивает. Ясно, беда какая-то приключилась.

Разбудил Гришу Степанина — водителя вездехода.

— С Николаем, — говорю, — что-то произошло. Упряжка здесь, его нет. Едем!

— К Экаю он поехал, — вмешался Потапов. — И я с вами поеду. Как же без меня?

Е. ФЕДОРОВСКИЙ

Что же делать с тобой?

Конечно, его можно было и не брать. А нам надо обязательно обоим: водитель и механик — на случай поломки вездехода. Но раз так переживает парень, пусть едет.

Взяли аптечку, палатку, четыре спальника, карабин, ракетницу, продуктов на три дня. Все равно дольше ездить нельзя, бензина не хватит.

Мороз подходил под сорок. Вездеход у нас обыкновенный. Два сиденья впереди, сзади кузов, покрытый брезентом. От ветра защита, от мороза не укроешься. Надели мы маски, но от них толк маленький. От дыхания льдом покрываются, примерзают к щекам.

Ночь лунная. Синяя равнина. Только бугорки. Ни кустика. Снег твердый, как кирпич. Гусеницы не вязнут. Гриша жмет на газы. Молчит. Тихий он парень. Даже какой-то робкий, безответный. Из равновесия его трудно вывести. Только если разволнуется, начнет заикаться, слов не разберешь. Но дело знает.

Так вот, едем. Я тоже молчу. По сторонам поглядываю да время от времени из ракетницы стреляю. Может, увидит Николай ракету. Холод сквозь одежду пробивается. Ощущение, будто на коже изморозь. А каково ему одному в пустыне на таком морозе, если и жив?..

Стойбище Эккая от нас на юг, в горах. Там есть кустики, мох — подходящее пастбище. Примерно на полпути к стойбищу, только поодаль, в стороне, избышка. Ее оставили геологи. Там есть дрова, спички, возможно, еда. Если Николай не доехал до Эккая, то, оставшись без собак, уйдет к избышке. Если, опять же, он жив... Сначала надо к Эккаю.

Утром над самой землей пополз туман. Густой, как облака, и низкий. Ниже наших голов. Отвратительная штука. Сбавили ход. Я сменил Гришу. Тот мгновенно уснул.

Когда взошло солнце, туман упал на снег изморозью. Мы попытались поискать следы от нарт. Не нашли. Передал я домой обстановку. На вездеходе у нас стояла бортовая рация — приемник и передатчик. Нам ответили, что Николай не вернулся, и предлагали поиски продолжать.

Дальше начинались горы. Отроги Анюя. Этакie щербатые черные камни торчат из снега. Ехать опасно. Под сугробами не заметишь трещины или скалы. Попадешь одной гусеницей на камень, а под другой снег провалится, и покажишься боком гайки считать...

Разбудил Гришу, послал вперед осматривать дорогу. Идет он, похожий в меховой одежде на медвежонка, и осторожно направляет вездеход то вправо, то влево. Только спустимся с одного бугра, глядим, другой, еще круче. Попали на террасу. Она ведет сбоку горы вверх. Под ней — обрыв метров пять высотой и река. Сверху у реки лед бугристый, зеленый. Куда заведет нас терраса? Мы к Эккаю ездили не раз, но летом путь другой. А сейчас зима, дорога незнакомая.

Терраса сузилась. Гриша остановился:

— Не проедем дальше, разведаем сперва.

Пошли мы с ним вперед. В одном месте дорога совсем сузилась. Слева — скала, справа — обрыв. Можно проехать, если повиснет полгусеницы над обрывом. Но дальше терраса расширялась и скатывалась в долину.

Снег слепит глаза.

— Ты очки взял? — спрашиваю Гришу.

— Забыл. Ночью выезжали.

— И я забыл. Эх мы, горе-полярники...

Боялись ослепнуть от света. Тоже болезнь не из приятных. Глаза режет, словно натерли их перцем. А потом, как и в тумане, предметы искажаются. Узкая дорога кажется широкой, скала — как безобидный камешек, лемминг — копытная мышь — вырастает в волка, и всякая другая чертовщина мерещится.

Устроили обед. На паяльной лампе сварили суп. Кабина наполнилась паром. Хлеб стал белым от инея. Размачиваем в кипятке, жуем. Пока ложку к котелку несешь, она льдом обрастает. А на сердце как-то неспокойно. Жмет сердце. Мы одни. От базы уехали километров за полтораста. Самолеты

в наши края редко летают. Нет особой необходимости. Мотор не выключаем, чтобы не замерз.

— Ты, Гриша, вперед иди, а я машину поведу.

— Нет, давай уж я. За нее я в первую голову в ответе.

— Зато глаз у тебя верный. А у меня что-то плохо с глазами.

— Я тоже, пожалуй, выйду, — сказал Потапов.

Двигаю машину осторожно. Каждый камешек будто не гусеницами, а своими пальцами ощущаю. Вправо не гляжу. Там обрыв, торосы, бугры. Слева скребет о борт плиточный песчанник. С Гриши глаз не спускаю. Он пятится, уставившись на правую гусеницу, ту, что едва за край цепляется, и показывает руками повороты. Потапов рядом суетится.

Вдруг машину тряхнуло. То ли она левым бортом ударилась о камень, а может, под тяжестью гусеницы обрыв закрошился. Увидел только, Гриша что-то закричал, бросился навстречу. Меня от рычагов оторвало и ударило обо что-то.

Очнулся, как показалось, сразу же. Голова мокрая, тяжелая. Обмотана бинтом. В палатке лежу, в спальнике. В глазах мутно. Постепенно Гришу различаю. Фонарик горит.

И слышу какую-то чужую речь. Говорят по-английски. В школе и в армии я английский учил, разбираю торопливые слова. Где-то в тропиках шхуна «Августина» терпит бедствие. Налетел тайфун. Передают открытым текстом.

— Где я?

— О-очнулся! — обрадовался Гриша. — В па-а-алатке т-ты.

— Шхуна откуда?

Слышу голос Потапова:

— Рацию я с вездехода снял и батареи. Приемник работает, но у передатчика все лампы полетели. Труба — наше дело.

— А шхуна в тропиках?

— В тропиках, — ворчит Потапов.

В Арктике хорошая слышимость. Эфир чистый. Можно ловить Австралию и Перу. Надо же! Терпит бедствие шхуна «Августина». Начинен бедой мир...

— Н-накрепко засели, — говорит Гриша. — В-вездеход не перевернуло, но мотор не работает.

Встал я. Голова, правда, кружится, но, видно, отделался по мелочам. Вылез из палатки. Ночь. Вездеход боком скатился и не перевернулся. Чудом. Стоит между торосов. Луна. И жуткая тишь. Торосы голубые. Тени от них. Будто мы на Луне, а Луна над нами — это Земля. Потом шорох слышу — замерзает дыхание.

Утром обнаружили, что часть бензина из запасного бака вылилась на продукты. Сухари, сахар и концентраты пропитались им насквозь. Только консервы уцелели. Конечно, нас станут искать. Если пурга не задует, то по следу легко доберутся. Но хватятся, по всей вероятности, через три дня после того, как мы выехали, то есть послезавтра. Пять банок консервов на троих — только бы ноги не протянуть. Сварили из одной банки мяса бульон.

Мотор надо чинить основательно. От удара лопнул бензопровод, отлетел маслофильтр, глушитель, в радиаторе дыра.

Потапов говорит:

— Я пойду до Эккая пешком. Сколько осталось?

— Далеко. Километров тридцать-сорок.

— Не с вами же сидеть теперь. Возьму мешок, палатку, консервы.

— А нам?

— Вы на месте. Вам калорий надо меньше. А мне два дня идти. Кроме того, у вас остаются сухари и концентраты. Все предусмотрел.

— Ну, иди, — говорю, — может, встретишь Николая...

Сложил он в рюкзак спальник, палатку, консервы, взял карабин и ушел.

Мы развели костер из пакли и сучьев. Под мотором тоже горит пакля. Но руки не чувствуют ни огня, ни ожогов, наши руки, как огнеупорный кирпич. Мы торопимся. Я отвинчиваю патрубков, держа «накаленную» морозом отвертку. Делаю один оборот, другой, третий... Отвертка прилипает к ладони. Держу руку над огнем до тех пор, пока отвертка не упадет в костер. И снова кручу...

Гриша возится с маслофильтром. Масло загустело, как вар. На огне оно размягчается и стекает в пламя, чадя дымом.

Работа подвигается очень медленно.

Сумерки. На некоторое время зажигаем переноски, но потом тушим их, надо беречь аккумуляторы.

Забираемся в кузов вездехода. Металлический борт в мохнатом белом инее. Гриша пытается залезть в спальный мешок. Но спальник задубел, стал жестким и тяжелым, как чурбан. Горе-полярники... Истинный полярник утром, как только вылез из спального мешка, вывернул бы его мехом наружу и выстудил от влажного тепла. Чукчи, например, так делают тысячу лет. Выворачивают полог яранги и вытряхивают иней палкой или большой оленьей костью. Теперь-то многое мне кажется простым и ясным.

Кое-как мы раздираем спальные мешки и втискиваемся в них не раздеваясь, совершая еще одну ошибку. Надо обязательно раздеться, снять хотя бы унты, верхнюю одежду. Но этого мы сделать не в силах. Желудки стягивает от голода, пальцы ноют, будто их топтали ногами.

Я все-таки пересилил себя. Вылезая из звенящего ледяного мешка, прыгаю на снег, разжигаю паяльную лампу и направляю ее синее пламя на котелок со льдом. Пока вода не закипает, бегаю вокруг, приплясывая как шаман. Вода кипит. Я трясусь Гришу и пою его, еще сонного, киятком.

— Ты пей и жуй.

— Чего жевать?

— Бублик. Прямо с пылу! Жуй!

Гриша таращит на меня глаза и тихонько отодвигается.

— Я не спятил. Просто где-то слышал, что так вырабатывается в желудке сок и голод проходит.

Гриша двигает челюстями.

Потом мы разжигаем поярче костер и принимаемся за работу. Спать нельзя. Если уснем снова, то замерзнем.

Когда от голода начинала кружиться голова, Гриша бросал в котелок смерзшийся ком концентратов, перемешанных с сухарями и сахаром. Мы заставляем себя думать, что едим изумительно вкусное блюдо — жирный гороховый суп или кашу, но глотаем сплошной бензин с отвратительным кисло-сладким варевом. Мы изо всех сил сдерживаем тошноту и уверяем друг друга, что это вариво вполне съедобно, мы можем продержаться хоть неделю.

За день мы перебрали весь мотор, запаляли радиатор. Но если мы справились с этим делом, то отчаялись в попытках завести двигатель. Мы заливали в радиатор кипятка, жгли на моторе целый костер и бешено крутили ручкой. Но мотор не заводился. Мы поспешно сливали из радиатора уже ледяную воду, снова нагревали ее до кипятка и начинали все сначала.

В полночь мотор смилостивился над нами.

Эккай кочевал с колхозным стадом. Еще издали мы увидели его палатки. Рядом олени вырывали из снега черный мох. Навстречу выскочила собака и за ней вышел сам Эккай. Этот парень учился в Магадане и работал бригадиром-ветеринаром. На нем была сшитая из брезента кухлянка с капюшоном, рыжие унты, пыжиковая шапка — смесь чукотской одежды с нашей.

— Йетти! ¹ — приветствовал он меня.

— И, — ответил я. — Привозил почту Николай?

— Второй спрашивает. Вчера Потапов спрашивал.

— А где Потапов?

— Взял у меня оленей, домой уехал. А Николая нет, давно жду.

— Куда Потапов уехал?

— Домой.

— В поселок?

— Домой. В поселок.

Мы посмотрели друг на друга. Гриша и я. Помолчали. Потом зашли в палатку с двумя стенками, теплую, специально для севера. Жена Эккая усадила на шкуры, стала кормить. Мы набросились на чай и сахар, потом на мясо.

— А Потапов не собирался ехать к домику геологов?

— Нет, он торопился домой, — ответил Эккай. — Бесполезно, сказал. Рукой махнул.

После еды нас едва не сморил сон. Но мы не хотели терять ни минуты. На дорогу Эккай дал нам хлеба и мяса. За руль сел Гриша. Я спал под грохот мотора. Потом настала моя очередь сидеть за рулем.

Иногда я сверял направление по компасу, мне нужно ехать на северо-северо-восток. Кругом лед: на шарфе, на веках, на рукавицах, на стекле и в небе. Мороз, наверное, нажал к шестидесяти. Хорошо хоть ноги не мерзнут. От мо-

¹ У чукчей нет приветствий. Они говорят: «Я пришел». — «И», — подтверждает хозяин, то есть «да».

тора идет тепло, и кабину наполняло бы паром, если бы я не опускал время от времени боковое стекло.

Постепенно замечаю, что мне все трудней двигать рычагами. Веки тяжелеют, хотя я тщательно сдираю с них лед.

Бужу Гришу и с трудом переползаю на его место.

Бьюсь о стекло лбом. Солнце высоко. Вездеход остановлен. Гриша с карабином бежит по равнине. Я вываливаюсь из кабины, увидев ярко-красные пятна. На истоптанном снегу — клочья шерсти, кусок брезента, раздробленная ложка ружья и вокруг песцовые следы. Они, видно, жрали снег, пропитанный кровью. Здесь была какая-то схватка.

Прибавляю газу и гоню вездеход следом за Гришей. Он запыхался от бега, вскакивает на подножку.

— Б-быстрей!

Мы снова видим клочья меховой одежды и широкие следы с длинными, острыми когтями. Через километр поднимаем растерзанный унт.

— Это Н-николай! Он п-полз к домику...

На снегу чернеет какой-то ком. Мы подьезжаем, вспугнув целую стаю песцов. По остаткам бурой шкуры и длинному грубому волосу догадываемся, что это росомаха — хоть небольшой, но вредный и опасный хищник. Она жрет падаль, телят, оленей, живет чаще в тайге, но черт знает, кто ее загнал в тундру!

У самого домика мы видим и кровавую дорожку, протянувшуюся к двери. Николай лежит у печки. Его одежда вся в клочьях. Печку он топил, в домике сравнительно тепло. Я заталкиваю в печь весь остаток дров и зажигаю огонь: Гриша спиртом из аптечки растирает тело Николая.

Николай открыл глаза и вдруг дико закричал:

— Убейте их, быстрей убейте!

— Все в порядке, Коля. Это я, Гриша Степанин, а это Леша Кузьмин. Мы приехали за тобой.

Николай уснул. Мы переодели его, перевязали, закутали в два спальных мешка и повезли. К счастью, в домике мы нашли полканистры бензина. Заботливый же народ эти геологи! Мы благополучно доехали до дома.

В медпункте Николая перевязали еще раз. Он немного обморозил руки и ноги. Перевязали и нас. Мы тоже немного подмерзли. Из медпункта завернули на радиостанцию.

— Я уже тревогу поднимаю! — заюлил Потапов. — Вас искать.

Я и Гриша молча подошли к нему. Он прикрыл лицо рукой, как будто мы собирались его бить.

— Не бо-ойсь, — сказал Гриша и, глядя в глаза, спросил: — Что же нам всем с тобой делать?



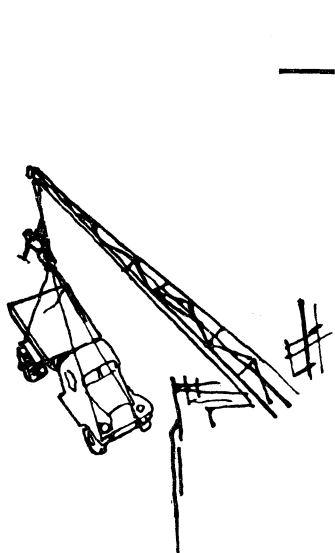
ОДНА МИНУТА

Рисунки П. ПАВЛИНОВА

Бывают обыденные, ничем не примечательные минуты, песчинки, из которых складывается жизнь, и бывают мгновения, которые вырастают до размеров пирамид. И разве не случается так, что человек, которого мы знаем много лет, благодаря какому-то мгновению вдруг предстает перед вами в новом и неожиданном свете?

Однако хватит отвлеченных размышлений.

Я расскажу о трех минутах в жизни троих людей. Речь пойдет о гидростроителях. Профессия героев, разумеется, не имеет особого значения. Просто эти гидростроители — мои знакомые...



Дементьева «занесло», — говорили ребята в общежитии.

Коля Дементьев был милым, застенчивым человеком двадцати трех лет. Со стройки он приходил поздно. Снимал очки и, растирая переносицу, глядел на ребят близорукими, несколько растерянными глазами. Он не сразу приходил в себя после сутолоки рабочего дня.

Ребята пили чай, или пиво, или еще что-нибудь — смотря по настроению и финансам. «Коля, иди умойся, — говорили они. — Скоро Маша придет».

Коля, словно подстегнутый, поворачивался и уходил, громыхая сапогами, в умывальник. Плескаясь, Коля громко пел «Аве Мария».

— Вот чокнутый, — говорили ребята.

Не каждая комната общежития могла похвастаться таким уникалом. Дементьев появился на стройке год назад, с новеньким синим дипломом. В отделе кадров посмотрели на его «корочки» и предложили инженерскую работу в отделе. Дементьев отказался. «Мне бы простым рабочим, — сказал он. — Я должен поучиться жить с людьми». В отделе кадров хмыкнули и послали его к арматурщикам. Теперь Коля бригадирствовал у верхнего бьефа. Бригада не сразу привыкла к нему — там до него был горлопан и матерщинник. Приходилось только удивляться, как это Коля с его тихим голосом и осторожными манерами удерживается среди арматурщиков. Парни в бригаде были ухватистые.

В восемь к Коле заходила Маша, бетонщица с третьего участка. Они шли в кино или на танцы. С того дня, как Дементьева с Машей увидели вместе, само собой подразумевалось, что они жених и невеста.

Коля подарил своей подруге великолепный красный кашемировый платок, который был привезен кем-то из его друзей после заграничной поездки. На платке были изображены Собор Парижской богородицы, Колизей, пирамида Хеопса, башня Карлова моста, пагода Дракона, небоскребы и прочее. Яркий платок был еще тем хорош, что теперь Коля всегда отличал Машу среди других бетонщиц даже на большом расстоянии. Маша работала наверху, на эстакаде, на высоте пятидесяти метров.

Подошла зима, и стройку стал окутывать густой туман: вода, клокочущая у плотины, не замерзала. Коля задира голову и старался разглядеть Машу сквозь клубы подсвеченного прожекторами пара. Он следил за бункером, который, вращаясь, плыл ввысь, подхваченный крюком мостового крана. Там, на самой крыше будущего здания ГЭС, бетонщицы должны были опорожнить бункер и развезти раствор по всей эстакаде.

Кран мог дотянуться только до самого края эстакады, и остальную работу нужно было проделать вручную. Бетонщицы толкали вагонетки с раствором по рельсам и опрокидывали их где нужно в опалубку. Раствор быстро мерз, им приходилось спешить. Коля мог увидеть Машу разве что на секунду.

Но даже от этого ему становилось легче: он немного нервничал, что Маша работала на такой высоте, над водой, которая с ревом втягивалась в водосливные отверстия, крутя льдины, пену и щепки.

Так вот, ребята стали вдруг говорить, что Колю Дементьева «занесло». По ночам Коля долго не гасил свет, что-то рисовал и разговаривал сам с собой. Он стал после работы пропадать на эстакаде, бродил по шатким мосткам, уложенным на стальную проволоку, натыкался на бетонщиков, извинялся и протирал очки, которые запотевали в морозном тумане. Тем временем Маша, придя со смены, ждала его в общежитии и пропускала кино, и танцы, и даже лекции на разные интересные темы.

Так продолжалось неделю или больше.

В воскресенье Коля пришел на квартиру к начальнику строительства Квочкину. Начальник сидел в майке и, увидев бригадира, стыдливо прикрыл татуировку — тяжелое наследие флотского прошлого.

— Вытри сапоги, — сказал начальник, глядя на паркет.

Дементьев вытер сапоги, почесал переносицу и выложил перед Квочкиным ворох листов.

— Вот, — сказал он. — Эстакада, Евгений Сазонович. Она всех задерживает, сами знаете. Ручная работа, раствор стынет. Предлагаю ликвидировать узкое место с помощью машины.

— Какой еще машины? — спросил Квочкин.

— Обыкновенной. Самосвала.

Квочкин взял листки и разложил перед собой, как пасьянс.

Идея Дементьева была предельно проста: краном поднять самосвал на эстакаду и поставить его на специальные мостки, закрепив руль. Грузовик превращался, таким образом, в самоходную тележку большой мощности. Кран опрокидывал бункер в кузов, самосвал ездил по мосткам, сбрасывая раствор, где было нужно, и заполнял опалубку. Да, это не тележку толкать... И сколько рук освобождалось!

— Неплохо, — сказал Квочкин. Он не любил и не умел хвалить людей. — Ничего в общем. Значит, полмесяца вместо четырех?

Коля кивнул. Они просидели за столом еще часа два, споря и толкая друг друга локтями.

— Добро, — сказал Квочкин. — Завтра дам тебе группу. Смотри не угробь машину.

Самосвал поднимали утром, был мороз, и солнце бродило где-то над туманом, а над головами собравшихся мерцала неяркая радуга. Бетонное здание ГЭС с недостроенными рваными краями, из которых торчали прутья арматуры, было покрыто плотными хлопьями куржака. С нижнего бьефа доносился звериный рев — вода, вырвавшаяся из водосливных отверстий, хлопотала ключом, как в котле. Оттуда шел особенно густой пар.

Ребята быстро застопорили машину и привязали ее к крюку. Одна петля проходила под передними колесами, другая — под задними. Стрелу крана было не видно в тумане. В руках у Коли был мегафон, губы кровоточили — он ободрал их, прикасаясь к обжигающему холодом раструбу.

— Вира помалу, — сказал Дементьев, и голос его басовито и раскатисто прокатился над котлованом и ушел куда-то ввысь, к эстакаде.

Крановщик хорошо знал свое дело. Машина мягко оторвалась от земли, сразу всеми четырьмя колесами и пошла вверх. Кран стал разворачиваться — самосвал уходил в туман, теперь он висел над водой, на верхнем бьефе, как раз над всасывающими отверстиями.

— Вира!

Самосвал улетал, как самолет, к самой радуге. Работы на эстакаде и возле крана были прекращены — молчали движки компрессоров и вибраторы, только слышен был скрип троса и рев воды. Люди напряженно молчали.

Машина висела уже у самого края эстакады, когда сверху крикнули. Это был резкий, пугающий крик.

Не веря своим глазам, Коля попросил у одного из монтажников бинокль и увидел: машина, вися на крюке, тихонько покачивалась и повертывалась, а нос ее опускался все ниже и ниже, словно она собиралась устремиться в бурлящую воду. Петля, которая удерживала передок самосвала, потихоньку распускалась, видно было, как скользит трос.

Кран остановился. Ветер с водохранилища на несколько минут разогнал пар, и все увидели грузовик. Никто ничего не говорил. Это была нехорошая тишина.

Петля перестала распускаться, и грузовик теперь покачивался, не опуская больше нос. До эстакады оставалось каких-нибудь семь-восемь метров, но крановщик не решался на подъем.

— Тоже мне «морской узел», — сказал монтажник в каске, обращаясь неизвестно к кому. — Ботинки таким завязывать.

— Говорил — нельзя старый трос на завязку!

— Я сейчас, — сказал Коля.

Он исчез в кабине крана, и потом все увидели бригадира на стреле. Дементьев карабкался по длинной, уходящей в туман лестнице, за ним, поблескивая, волочилась цепь монтажного пояса. В одной руке он держал ломик.

— Куда? — начальственно крикнули из котлована.

Он и сам не знал, куда и зачем. Какой-то внезапный порыв кинул его на стрелу, руки сами нашли монтажный пояс и ломик, а ноги быстро несли его сухонькое, легкое тело вверх. В самом конце лестницы, у большого колеса, на котором лежал масляно блестящий стальной подъемный канат толщиной в руку, Коля остановился. Он почувствовал нудный, холодный страх. Тело вдруг стало вялым и тяжелым.

Здесь, над водой, пар был особенно густым, и Коля сунул бесполезные очки в карман ватника. Он видел под собой массивный крюк, грязный, мятый кузов самосвала, а еще ниже темной массой угадывался котлован. А прямо под ним, скрытая серо-белесыми клубами, бушевала вода.

Нужно было спуститься по стальному канату вниз, на крюк, и там зажать распускающийся узел ломиком. И висеть на крюке, держа лом, пока крановщик не поставит самосвал на мостки эстакады.

— Я маленький, легкий, — пробормотал Коля, уговаривая себя.

Это была его затея насчет самосвала. И узел вязали под его пристмотром. Так что...

До крюка ему предстояло добираться, надеясь только на цепкость своих рук. Здесь он никак не мог пристраховаться монтажным поясом к канату.

Коля увидел, как петля, держащая передок машины, снова начала тихонько скользить. Ветер раскачивал и дергал трос.

Он никак не мог сделать первый шаг. Коля не оборачивался назад, но, казалось, спиной ощущал все, что происходит сейчас за ним. Вот в кабине крана застывшие, примолкшие люди заметили его колебание. Вот один из его друзей пристегивает пояс и готовится ступить на лесенку стрелы. Сейчас вздрогнет металл под далекими шагами, человек поднимется и, сняв с Коли ответственность, разом уничтожит страх.

Дементьев не выдержал, повернул голову, спеша увидеть спасителя, и тут он заметил край эстакады, выплывший среди клочьев пара, и ему показалось, что среди серых пятен мелькает, то появляясь в белесом облаке, то исчезая вновь, алый, знакомый цвет платка.

Ему был очень необходим сейчас этот красный, пробивающий туман свет.

Коля надел брезентовые рукавицы, сунул ломик за пояс и гибко, змейкой пролез между станиной и блоком. Витой, многожильный канат был скользким, на темном масле блестели капельки влаги. Коля обхватил руками канат и прижался к нему грудью, стараясь не смотреть вниз. Ему вдруг показалось, что канат обрывается внизу и он полетит прямо в хлюпающую, шелестящую льдинами тугую струю воды.

Коля оттолкнулся ногой и заскользил. Притормозить он уже не мог — слишком маслянистым был трос.

Сапоги больно ударились во что-то твердое, металлическое, и от толчка Коля едва не выпустил канат.

Теперь он сидел, согнувшись, на нижнем блоке и тяжело дышал, переживая боль. Потом, кое-как изловчившись, охватил цепью монтажного пояса крюк. Он уже не боялся упасть и мог свободно работать одной рукой.

Коля вставил ломик в узел и прижал медленно скользивший трос. Узел стал затягиваться. Совсем ему, конечно, не остановить этот трос, но притормозить все-таки можно, если крепко держать.

— Вира! — крикнул Коля.

Но голос куда-то пропал. Какой-то хриплый звук издало горло.

Крановщик, однако, понял. Самосвал, крюк, а вместе с ним Коля поползли вверх к эстакаде.

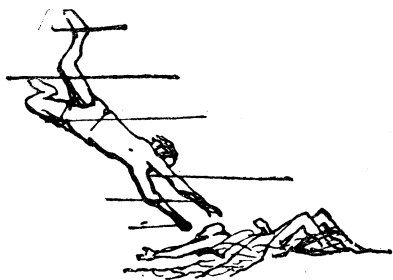
На эстакаде, выпрыгнув из кузова самосвала, Коля увидел вокруг знакомых арматурщиков из бригады — ребята мигом взлетели на верхоуру по стремянкам.

— Долго я там торчал, на стреле? — спросил Коля.

— Да не... минутку, — ответил Липован, самый рослый из арматурщиков.

Но Коля не слышал ответа Липована. Он смотрел на Машу, подходившую к грузовику и тоже не сводившую взгляда с Коли. На ней был старый, домашней вязки, черный платок.

Коля вспомнил: в этот день было тридцать ниже нуля.



В свои двадцать восемь лет Латышев очень берег сердце — это знали все экскаваторщики. Было как-то странно, что на такой стройке, среди людей, которые ходят в рубахах с растерзанными воротничками и с высокой колокольни чихают на сорокаградусный мороз, существует человек, проявляющий пунктуальную заботу о своем сердце.

Однажды Латышеву предложили поработать недельку в ночной смене. Он отказался наотрез, сославшись на законодательство.

В кабине его экскаватора пахло лекарствами, и друзья немножко посмеивались над этим. В жизни есть кое-какие жесткие правила, что поделаешь. Попробуйте убедить своего напарника, который играет за «Энергетик» и спит по четыре часа в сутки, сохраняя на весь день заряд бодрости, попробуйте убедить его в том, что ваш «мотор» дает частые перебои и будит по ночам непонятным затишьем...

Свободные дни Латышев проводил на даче, на берегу водохранилища, там, на высоком берегу, стоял купленный им небольшой рубленый домишко. Местность называлась Иванов Ключ. Латышев потому выбрал Иванов Ключ, что оттуда хорошо видна была стройка — темная полоска плотины, и кубик здания самой ГЭС, и даже волосяные, тонкие стрелы кранов.

В то воскресенье Латышев был один. Его друзья и родные уехали на массовку в горы.

День был жарким, немного душным, но от холодной воды веяло прохладой, и Латышев спустился вниз, к самому водохранилищу. У него мучительно ныли колени — наверно, перед дождем, и он с трудом перебирался с камня на камень, пока, наконец, не выбрал удобное место. Камень был теплым, Латышев сидел и смотрел в прозрачную зеленую воду.

Прямо под ним из дна рос безлистный куст багульника. Ветки багульника были усыпаны серебристыми пузырями. Водохранилище заполнили совсем недавно, в нем еще не завелась рыба живность.

Латышев наслаждался покоем и смотрел в воду, ни о чем не думая. Так ему показалось, конечно, что он ни о чем не думал, — просто мысли у него были легкие, хорошие.

Мимо него прошли двое худых, загорелых мальчишек в ковбойках, у одного в руках была маска для подводного плавания. Конопатое его лицо излучало счастье. Они скрылись за скалой, и вскоре оттуда донеслись плеск воды и смех.

Латышев позавидовал. Он и сам, казалось, ощутил обжигающее прикосновение воды, то давно забытое им ощущение свежести и бодрости, когда холод покрывает кожу пупырышками, стягивает ее и разгоняет кровь.

Чертов ревматизм. И вообще... Длинную дефектную ведомость выписали ему врачи. Не по возрасту длинную. Ну, да что поделаешь. Надо уметь принимать такую несправедливость со спокойной душой. В конце концов люди сталкиваются и с большими бедами. А он еще сможет немало поработать на своем веку. Женится, у него будет хорошая семья...

Латышев размялся и не сразу понял, зачем к нему, прыгая с камня на камень, подбегает мальчишка с таким странным, испуганным выражением лица. Мокрые, длинные трусы облеплили худые ноги, мальчишка задыхался, крик застыл на лице, превратился в гримасу. Латышеву показалось, что эти торопливые прыжки — продолжение какой-то ребячьей игры. Латышев просто не мог сейчас представить реальность несчастья.

Мальчишка схватил его за рубаху.

— Там, — сказал он, — там...

Слова булькали у него в горле, и Латышев ничего не мог понять. Но инстинкт срабатывает быстрее, чем сознание. Латышев вскочил и первым помчался к тому месту, откуда несколько минут назад доносился смех и плеск воды.

Это была сумасшедшая гонка. Когда Латышев подбежал к большой гнейсовой плите, на которой лежали рубахи и маска, ему показалось, что из атмосферы исчез весь кислород. Латышев давно уже так не бегал.

Второго купальщика нигде не было видно. Мальчишка, отставший поначалу, теперь снова дергал сзади за рубаху и повторял бессмысленно, показывая на воду:

— Там, там...

Латышев торопливо разделся. Он срывал пуговицы с рубашки и думал, что не сможет ничем помочь, что лучше бы позвать кого-нибудь, кто поздоровее, повыносливее, у кого хорошее сердце... Но не было никого поблизости. Лишь где-то вдаль тархтела моторка. Сопки были пусты, никто сюда и не забредал, кроме вот таких шальных мальчишек.

— Мы искали сокровища, — выпалил вдруг сквозь стучавшие зубы. — Мы искали, и он там остался.

Надо было бы хоть чуть-чуть отдышаться, прежде чем лезть в воду, но Латышев нырнул.

Холода он не боялся. Он боялся только своего сердца.

Он открыл глаза под водой. Блики солнечного света колебались на дне. В глазах рябило. Но Латышев выдохнул из легких воздух, заставил себя опуститься еще глубже.

Как будто чья-то шершавая, грубая ладонь сжала сердце, и оно вдруг забилося, запрыгало. И тут же острая боль шевельнулась в затылке, солнечные блики исчезли.

Захлебываясь, Латышев вылетел на поверхность. Он увидел темную гнейсовую плиту и силуэт мальчишки. И никого больше не было поблизости.

Отдышаться в воде он не мог. Кое-как взобрался на камень, лег.

— Дяденька, ну чего? — шепотом спросил мальчишка.

— Дай маску, — прохрипел Латышев.

Он поймал ее на лету, постом трубку, надел их и поплыл. Теперь он мог видеть дно, не погружаясь. Он слышал свое судорожное дыхание усиленным десятикрат, и эти звуки, которые передавала вода, мешали ему, пугали.

Целая горная страна была под ним: острые пики, ущелья и скатившиеся камни. Кое-где торчали пни, и даже целые стволы с ветвями, еще не успевшими потерять хвою, лежали на дне.

Только теперь он начал чувствовать, как холодна была вода.

Мальчишку он увидел в расщелине, рядом с большим обопрелым стволом-топляком. Это был тот самый конопатый, который так радостно улыбался. Он как будто обхватил ствол руками и не желал расставаться с ним.

Латышев сильно взмахнул руками и пошел вниз. Здесь было метра три, не больше. Плевое дело для здорового человека.

Он схватил мальчишку за длинный русый чуб и хотел с силой оттолкнуться ногами, чтобы сразу, одним махом, всплыть. И тут только увидел сеть. Сеть обволакивала топляк, и в ее обрывах запутался мальчишка, запутался, как глупая рыбешка. Он, видно, бился изо всех сил, стараясь освободиться, и увязал все сильнее и сильнее, наматывая на себя обрывки старой, но еще прочной сети.

Много всякого хлама валялось на дне этого недавно затопленного водохранилища.

Латышев рванул сеть, стараясь поднять ее на поверхность вместе с мальчишкой. Топляк колыхнулся, поплыл вверх, но тут голову Латышева словно сжало тисками, вода потемнела, померк тусклый солнечный свет, лившийся сверху.

Трубка выскочила из рта, и он не выдержал, хлебнул широко открытым ртом воду.

Очнулся Латышев уже на камне — он лежал на нем животом, свесив руки и ноги. Видно, даже теряя сознание, он успел все-таки выскочить на воздух и выползти на камень. Работал уже не мозг, просто какие-то живучие клеточки его нервов заставили мышцы проделать все, что было нужно, и он спасся. Спас себя.

Сердце билось тяжелыми и тупыми ударами. Все тело было как ватное, с трудом шевелились пальцы.

Он поднял голову и осмотрелся. Второго мальчишки не было видно — убежал, испугался. Черный, оголенный лес над головой казался металлическим.

«Еще одну попытку, — мелькали путаные, рваные мысли. — Еще одну. Надо. Тут уже ничего больше не имеет значения. Все равно уже... Надо. В конце концов прожил двадцать восемь. Это не так мало...»

На поверхности воды, там, откуда он вынырнул, расплзлось мутное пятно. Вот это было плохо. Грязь от растревоженного дна, она закроет ему глаза.

Жаль, что убежал мальчишка. Все-таки хоть кто-то рядом. Хоть одна живая душа.

Ну, иди. Не теряй времени. Считай под водой. Считай. Ты должен посчитать до шестидесяти. Минута — разве это много? Подумаешь, минута...

Он вылил воду из маски и прикрепил резиновую застежку. Затылок был налит свинцом. Потом стиснул нагубник, сильно, чтобы унять дрожь.

Прыгай. Как ты будешь жить, если не прыгнешь сейчас?

И тут его словно осенило. Стекло! У него не было с собой ножа, но если ему посчастливится найти поблизости острый осколок стекла, то тогда можно будет справиться с сетью.

Ему повезло. Близ самой воды валялась бутылка с отбитым горлышком. Латышев стукнул ее о камень и выбрал большой, выгнутый осколок. Левое плечо и рука онемели от сильной, тянущей боли.

Загребая правой рукой сколько было сил, он опустился на дно. Пальцы быстро нащупали теплое еще, упругое тело. Латышев, не разбирая, резал переплетенные нити.

На счете тридцать он почувствовал, что наступил предел. Стекло выпало из ладони. Но он знал, что если вынырнет на воздух, то больше уже не сможет вернуться сюда. Есть же какие-то границы, через которые не способен переступить человек. Даже очень здоровый.

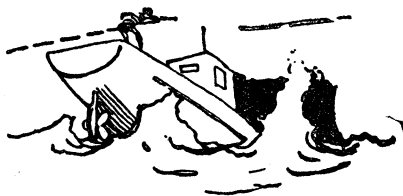
Латышев вцепился в сеть руками. Он рвал ее; на счете сорок пять вода стала как будто черной, он снова перестал видеть.

И сеть подалась, Латышев потянул мальчишку за руку и почувствовал, как тело выскользнуло из ловушки.

Латышев выволок мальчишку из воды и лег рядом. Он не мог встать, чтобы выкачать из утопленника воду и вернуть ему жизнь. Перед глазами по-прежнему качалась серая пелена. И было очень горько и обидно оттого, что нельзя подняться и все усилия были напрасными.

И тут сквозь серую пелену он увидел чьи-то ноги и почувствовал, как сильные руки поднимают его. Он хотел сказать какую-то длинную, сложную и не совсем понятную даже ему самому фразу о том, что все в порядке, что теперь, после того как все кончилось благополучно, особенно стоит жить и он знает, как надо жить, и сможет рассказать об этом другим. Но Латышев ничего не сказал. На краткий миг, словно при свете вспыхнувшей ракеты, возникла перед ним наклонившаяся сопка, черные голые деревья, падавшие куда-то вместе с сопкой; потом снова нахлынула черная пелена.

Когда он очнулся, то увидел знакомое конопатое личико. Латышев понял, что долго был там, за чертой. Мальчишка придерживал одной рукой белый халат и глядел на него испуганно вытаращенными глазами. Латышев сделал попытку подмигнуть ему: очень уж не любил испуганных лиц...



Ленька Щавелев вывел катер на самую середину реки, как только ему сообщили, что готовятся разбирать перемычку.

Оба берега реки были очень высоки, и тень закрывала Ленькин катер. Вода, подмывавшая свежие осыпи, была темно-коричневой. Солнце освещало только стрелы экскаваторов и верхушки копров.

Ленька предусмотрительно удерживал катер подальше от прорана. Сейчас река всей своей мощью устремлялась к правому берегу, где был проран. Щавелев через корпус катера ощущал тяжелый напор воды. Он выжал реверс, дал задний ход и ушел подальше от опасного места. Вся его задача сейчас заключалась в том, чтобы удерживаться в центре образовавшейся перед стройкой заводи и следить за поведением реки во время перекрытия.

Надя Барщевская, гидролог, дежурила на носу катера с наметкой в руках. На ней был легонький сарафанчик, и сейчас она жалась от утреннего холода. Рядом с Надей на скамеечке стояла маденькая зеленая радиостанция «Урожай». Надя должна была замерять уровень воды и сообщать данные на центральный пост.

Ленька видел, что все уступы на скалистых диабазовых берегах усеяны людьми. Катер был перед ними как на ладони. Щавелев поворачивал штурвал и движениями плеч поправлял небрежно накинутый бушлат. Он был очень счастлив в это утро, чувствуя на себе взгляды сотен людей и гордясь своей необычной ролью. Только вот Надя стояла спиной к Леньке, не замечая, как искусно и ловко управляет капитан своим судном.

Капитан улыбался берегам и старался смотреть на гидролога как можно пристальней, чтобы та почувствовала его взгляд и обернулась. Ленька знал силу своей открытой, чарующей улыбки и недаром пользовался репутацией балагура и сердцееда. Но Надя возилась со своей радиостанцией, проверяя слышимость, и не хотела замечать Леньку. Скромница! Только и знает — гидрология, гидрология... Как будто вокруг нет ничего более интересного.

Тихо было в каньоне. День за днем здесь грохотали взрывы, ломающие диабаз, а сегодня установилась тишина. Перекрытие... Только слышно было, как, скрытые за насыпью, глухо рокочит «МАЗы».

Солнце уже осветило рубку на катере, и Ленькин рыжий чуб вспыхнул осенним пламенем.

Репродукторы, установленные у котлована, донесли

четкие слова приказа: «Экскаваторы, разобрать перемычку. Водителям начать подачу горной массы в проран!»

С катера хорошо было видно, как заработали экскаваторы, то опуская, то тяжело поднимая ковши, как диабазовые глыбы, падая с «МАЗов», поднимали белые смерчи из пены и брызг. Дизели сновали один за другим, над котлованом стояла пыль.

Надя бегала с наметкой по палубе, кричала в трубку цифры, Щавелев, откинув на затылок «мичманку», водил катерок от берега к берегу. Он представлял себя человеком, которому подвластна река и от которого зависит — усмирится она или же опрокинет возведенную искусственную преграду.

«МАЗы» работали быстрее, чем экскаваторы, они забивали проран глыбами, в то время как перемычка еще не была снята, и вода стала резко подниматься.

— Четыре девяносто! — кричала Надя. — Четыре девяносто пять, пять ноль-ноль!..

Ленька увидел, как к двум экскаваторам, работавшим на перемычке, подполз еще один.

«Ай да мы!» — подумал Ленька. Ему стало досадно, что Надя, эта суетливая работающая скромница, не видит, как он, Ленька, со своим катером выручает стройку. Знай себе машет шестом как оглашенная.

Наде приходилось туго с длинной и тяжелой наметкой. Она то и дело присаживалась на скамейку. Сбившаяся телесемочка сарафана открыла белую полосу на ее загорелом плече. Оставив штурвал — вот напугается девчонка! — Ленька прошел на нос и стал в шутку отбирать шест. Катер медленно разворачивало и сносило к плотине. Надя взглянула на Щавелева злыми и усталыми глазами.

— Займись делом!

Ленька крикнул: «Отмеряла!» — и пошел к себе в рубку.

Солнце уже прочертило свой огненный путь над каньоном, и к катеру подползала тень правого берега. «МАЗы» неутомимо ревели.

Теперь катер подтягивало уже не к прорану, забитому глыбами диабаз, а к перемычке, вернее, к тому месту, где недавно была перемычка. Река хлынула в открывшийся отводящий канал, круша последние остатки временной земляной плотины. Экскаваторы медленно отползали от наступавшей на них реки.

Ленька впервые был на перекрытии, и теперь он, разинув рот, глядел на реку, которая послушно, на глазах, потекла в русло, построенное для него человеком. Притихшая перед запрудой вода в том месте, где начинался отводящий канал, вдруг свивалась в тугие шоколадные жгуты и неслась узким и пенистым потоком прямо к бетонной стенке. Три темных жерла донных отверстий всасывали этот захлебывающийся яростью поток.

Ленька, немного испугавшись близости грозной, точно переродившейся реки, развернулся и отвел катер к центру заводи. Надя коротко взглянула на него. Ей было важно, чтобы катер был поближе к плотине, но она ничего не сказала.

— Перекур, — объявил Ленька и заломил «беломорину».

Он так и застыл с горящей спичкой, не успев зажечь папиросу. Спичка жгла пальцы, а Ленька все еще не мог понять, что произошло. Как-то странно тихо стало на реке. И катер перестал дрожать. Ленька взглянул на тахометр — стрелка стояла на нуле. Мотор не работал. Заглох.

Щавелев тут же нажал кнопку пневмостартера. Мотор молчал.

Медленно-медленно проплывала за бортом катера отвесная диабазовая скала. Кто-то из бурильщиков, сидящих на уступе, помахал фуражкой, и Надя улыбнулась ему. Она тоже не догадывалась о случившемся.

Ленька нажимал на стартер до тех пор, пока не стравил давление. Копаться в моторе было некогда. Катер постепенно подносило к отводящему каналу — туда, где у реки начиналась свистопляска.

Щавелев представил себе, как это будет выглядеть. Катер подтянет к руслу канала и развернет бортом — ну да, всегда ведь случается худшее. Поток, наклонив суденышко, подтащит к донным отверстиям, шмякнет о бетонную плотину. Расползется обшивка. Вода будет подхватывать обломок за обломком и швырять в темные жерла, превращая металл в куски жести. И никто уже ничем не сможет помочь...

Леньке стало жалко себя, своих двадцати двух лет. Но он был капитаном и прежде всего отвечал за команду.

Надя, обрадовавшись тому, что катер приблизился к стройке и можно будет сделать самые ценные замеры, снова схватилась за наметку. Ленька в два прыжка очутился около нее.

— Хана катеру! — заорал он. — Прыгай, мотор не работает! Плыви к берегу, еще успеешь.

— А ты? — спросила Надя.

— Не рассуждать! — рявкнул Щавелев. — Здесь я капитан!

Он столкнул Надю в воду, и она поплыла, неловко, пожениски отмахивая саженки и часто оглядываясь. Убедившись в том, что она миновала опасное место и выбралась в затишье, Ленька оценил расстояние, отделявшее катер от канала. Оно сокращалось все быстрее и быстрее. Катер поворачивался. Да, его влепит бортом в стенку.

Ленька верил в свои силы и не спешил. Он плывал мощно и красиво. Кроль был его любимый стиль. Но сейчас, когда Нади не было на палубе, Ленька чувствовал непривычный, сосущий холодок. На берегу уже поняли.

— Прыгай, прыгай! — кричали со скалы.

Ленька делал вид, что не торопится. Черт возьми, это было для него — такая игра на нервах.

Из маленького затончика наперерез катеру выплыла лодка. В ней сидел плечистый парень в тельняшке — видать, из демобилизованных моряков, их здесь много работало, на стройке. Гребец часто и нервно взмахивал веслами. Ленька взглянул на белые бурунчики, вспыхивающие в канале. Вода смывала пудовые камни с перемычки.

«Подожду, пока лодка подплывет к катеру», — решил

Ленька. Он взглянул на часы. Минута в его распоряжении, не больше. Слышен был гул потока.

Ленька не выдержал и, оттолкнувшись от борта, головой вперед полетел в воду. Он хорошо нырял и мигом очутился у лодки.

— Плыви, плыви, — пробормотал парень, глядя не на Леньку, а на опустевший катер. Ленька хотел было ухватиться за лодку, но парень, все так же вполоборота продолжая глядеть на катер, сделал несколько сильных гребков и подплыл вплотную к его невысокому борту.

Ленька почувствовал вдруг злобу к этому незнакомому, отчаянному и глупому пареньку. Катер захотел спасти!

Парень вскочил на палубу и схватился за штурвал, бешено завертел его, стараясь повернуть катер так, чтобы он вошел в канал носом. Легкую деревянную лодку уже подхватил поток, и она прыгала на бурунах, словно детский бумажный кораблик.

А парень в тельняшке уже орудовал на носу наметкой. Ему удалось повернуть катер как раз в тот момент, когда судно вышло на стремнину.

Вскочив на берег, Ленька успел заметить, как его корабль исчез в донном отверстии, как парень в самую последнюю секунду упал на палубу, спасаясь от удара о низкий бетонный свод, и как разлетелась сбитая рубка.

Вместе со всеми, что-то крича и уже не помня о злорадном чувстве к незнакомому пареньку, Щавелев побежал к нижнему бьефу.

Бежать пришлось долго — тропа огибала котлован.

Катер стоял, наклонившись на один борт, выброшенный на прибрежные камни. От надстройки не осталось и следа, но катер был цел. Цел!

Обрадовавшись, Ленька рванулся вперед, но тут же остановился. Люди пробегали, не обращая на него внимания. Ленька видел, как с палубы, шатаясь, поднялся парень в тельняшке.

— Ну вот и спасли катер, — пробормотал Ленька.

Как-никак он проплавал на этом суденышке целых три года. Кому бы и переживать, как не ему?

Ленька вытащил размокшую папиросу, стиснул зубами мундштук. Но разве он не сделал все, что мог? И не повернись этот парень... Просто у него, Щавелева, было мало времени на раздумье. Если бы еще хоть одну минутку, он бы догадался, что делать.

Ленька стоял один над рекой и над катером, над плотиной. Стоял и думал: хватит ли всей его жизни на то, чтобы заглядеть в памяти людей эту одну-единственную минуту трусости...





Е. ПАРНОВ,
М. ЕМЦЕВ

Последнее путешествие

Фантастическая повесть

«Москва,
Академия наук.

Следуя рейсом Мурманск — Берген, наш пароход «Заполярье» проходил вблизи Лофотенских островов. 20 октября с. г. в 16 часов 40 минут по московскому времени в проливе между островами Вере и Москенесе (район действия водоворота Мальстрем) вахтенный тов. Г. И. Мочалов обнаружил плавающий предмет, который был выловлен и поднят на борт. Он представлял собой полиэтиленовую канистру емкостью около десяти литров. Внутри канистры была найдена рукопись на английском языке, датированная 16 октября с. г. Согласно тексту рукописи она была помещена в канистру и брошена в один из водоемов Амазонского бассейна. Таким образом, канистра достигла Лофотенских островов самое большое за четыре дня. Для этого она должна была двигаться со средней скоростью, во много раз превышающей скорости известных океанических течений.

Кроме того, нет оснований предполагать, что канистра, плывя по течению, двигалась наиболее коротким путем.

Очевидно, канистра перемещалась вне обычных путей распространения бутылочной почты. Из текста рукописи можно сделать

предположения, что одним из таких путей мог явиться какой-то сверхглубинный канал, соединяющий два крайне отдаленных географических пункта.

Ввиду того, что содержащиеся в рукописи сведения могут представлять собой большой научный интерес, мы решили передать канистру с рукописью Академии наук СССР.

Мы очень просим прислать нам научное заключение по поводу данной находки. Всем нам очень интересно знать, какими сведениями располагает современная наука относительно существования сверхглубинных каналов, а также природных феноменов — электростатических и гидродинамических.

По поручению команды парохода
капитан парохода Н. Е. БАБАНИН».

ХРАМ „ЧЕРНОГО ТУКАНА“

Завязку этой истории следует искать во тьме веков. Она отодвинута от нас по крайней мере на двенадцать столетий. Я же оказался втянутым в нее девять лет назад, что дает мне некоторые надежды не опоздать хотя бы к развязке.

Как сейчас помню этот дождливый августовский день. Только что защитив магистерскую диссертацию по биохимии вирусов, я спешил обрадовать невесту. Мы были помолвлены с ней уже

ПОЛКОВНИКА ФОСЕТТА

Рисунки В. НЕМУХИНА



шесть лет... В общем на этот день оба мы возлагали большие надежды. С букетом роз, промокший и счастливый, я прислонился спиной к ее двери, нащупал звонок и нажал кнопку. Дверь открылась бесшумно, и я едва не упал в объятия моего будущего тестя. Он пригласил меня в кабинет.

В гостиной звенело столовое серебро. Из кухни доносился соблазнительный запах жареной индейки. Оставив ро-

зы на мраморном столике, с улыбкой от уха до уха я последовал за сэром Генри.

Должен сказать, что отец моей невесты считался одним из крупнейших вирусологов нашего времени. Нобелевский лауреат и профессор университета, он был ко всему прочему и моим прямым начальником.

Сэр Генри предложил мне сесть и сам сел в старое, протертое до блеска кресло с высокой и узкой спинкой. Я подумал, что, наверное, в этом кресле сидел отец сэра Генри, его дед, а может, даже и прадед, какой-нибудь энергичный и ловкий дипломат ее величества королевы Виктории. Со стены кабинета молча взирали лики многочисленных предков сэра Генри.

Я с удовольствием отметил, что портреты и фотографии родственников занимали в кабинете только одну стену, да и то не полностью. Остальное жизненное пространство безраздельно принадлежало книгам.

— Итак... — сказал сэр Генри.

Я вопросительно уставился на него. Он ответил спокойным, изучающим взглядом.

— Итак, — повторил он, — официальный курс науки у вас позади. Что вы собираетесь делать дальше?

Я несколько растерялся.

— Работать, естественно... Ну, и потом ведь мы с Энн...

Легкая, едва уловимая тень скользнула по его лицу.

— Да, да, конечно, я помню, — торопливо перебил он меня, — но как вы думаете работать?

— Простите, я, кажется, не совсем вас понял...

— Но это пустое дело, сэр. Ваша работа позволила получить исчерпывающую информацию о штамме вируса Б-П; продолжать изучение особенностей его строения или вникать в механизм взаимодействия с живой клеткой бессмысленно. До тех пор пока не будут разработаны новые методы исследования, всем этим просто не стоит заниматься. Вы будете по крохам собирать данные, которые в лучшем случае послужат пищей для отвлеченных — поэтому бесполезных — умозаключений наших теоретиков. Нужно искать что-то новое. Берите пример...

Дверь в кабинет распахнулась, и я увидел Энн. И сразу забыл все, о чем говорил сэр Генри.

Румяная, энергичная, напористая. Все это относится к Энн. У нее белокурые волосы и решительная походка. Она жизнерадостна и непосредственна. Однако в разумных пределах.

— Цветы необыкновенно хороши! — улыбнулась она. — Почему ты оставил их в передней? Мне приятней было бы взять их из твоих рук.

— О, Энн, я просто не знал, где ты...

— Я была на кухне, разве ты не видишь?

Она указала на ослепительно белый, хрустящий, как первый осенний ледок, передничек. Я улыбнулся, невольно подражая улыбке сэра Генри. Энн такая милая, домашняя и... нелогичная...

— Но, Энн, чтобы увидеть тебя, я должен был заранее знать, где ты, а не зная этого, я не мог определить по твоему наряду, где тебя нужно искать. Круг замыкается.

Сэр Генри чуть усмехнулся в аккуратно подстриженные усы.

— Все равно! — убежденно сказала Энн и тряхнула головкой.

— Я надеюсь, — деликатно вмешался сэр Генри, — что мы продолжим наш разговор после обеда.

Мы с Энн вышли из кабинета, и время до обеда заполнилось для нас потоком удивительно значительных пустяков. Мы проделали кучу дел и ничего не сделали. Я хмелел, как от хорошего выдержанного вина. Я давно потерял родителей, еще в раннем детстве, и тепло этого дома согревало меня.

— Итак, ты самостоятельный человек, и пора подумать о будущем, — сказала Энн, когда мы остались вдвоем.

Слова почти те же...

— Прежде всего мы поженимся, — сказал я.

Это было мое единственное твердое убеждение. Это было мое единственное желание. Я хотел жениться на этой девушке.

— Конечно, — сказала Энн, — но где ты собираешься работать?

— Я, право, не очень задумывался над этим вопросом. Кажется, меня могут оставить в университете. Да и сэр Генри кое-что обещал сделать.

— Безусловно, — наконец сказала она, — ты сможешь остаться в университете. Ты способный, и у тебя есть все перспективы стать известным ученым. Это так. Но нас теперь будет двое... В общем у тебя будет семья. Понимаешь? Семья-а! А университет — это очень долго. И главное — там мало платят. Много лет подряд нам придется еле-еле сводить концы с концами. На помощь папы рассчитывать не приходится, — она усмехнулась. — Занятия наукой в столь неразумно широких масштабах свели почти на нет все его состояние. Я хотела бы начать нашу совместную жизнь самостоятельно. Понимаешь?

— Да.

— А кроме того, — продолжала она, несколько поколебавшись, — мне не хотелось, чтобы ты походил на отца. Он слишком ученый. Он немножко не от мира сего, а сейчас, согласишься, это смешно. Ему не нужны деньги, слава — ну что ж, это хорошо, но я иногда думаю, что и семья ему не нужна.

— Энн!

— Я думаю, что мама была очень несчастлива. Мне не хочется стать женой человека, для которого ничто не свято, кроме науки. Понимаешь?

— Ты несправедлива, Энн, — горячо возразил я, — ты несправедлива к сэру Генри! Твой отец большой ученый, честный человек и...

— Да, но от этого ничего не меняется.

Мы вновь замолчали.

— Что же ты предлагаешь? — спросил я.

Она внимательно посмотрела на меня.

— Мне хотелось, чтобы ты работал в какой-нибудь солидной фирме. Кстати, и места есть, я слышала.

— Я и сам подумывал об этом, только...

По правде говоря, я кривил душой. Мне совсем не хотелось с головой окунаться в промышленность. Там много бессмысленных хлопот, и мало науки, и мало творчества, и мало свободы.

— Боюсь только, что тогда на моей карьере ученого придется поставить крест, — наконец выдавил я.

— Почему? — Энн пожала плечами. — В фирмах такие отличные лаборатории, современное оборудование...

— Да, пожалуй, ты права, — нерешительно согласился я.

— Я очень рада, что ты это понял, — ласково сказала Энн.

После банкета, который, кстати сказать, прошел очень весело, сэр Генри подошел ко мне с двумя рюмками подогретого портвейна.

— Я хотел бы закончить наш разговор, если вы, конечно, не возражаете, — сказал он, протягивая рюмку.

Мы пошли в кабинет.

— Хотите поехать в Южную Америку? — внезапно спросил сэр Генри, останавливаясь передо мной и закрывая дверь.

— Что?

Он отошел к окну. По темным стеклам струились потоки бесконечного дождя. Камин бросал малиновый отсвет на корешки старых книг. Пахло хорошими дубовыми дровами.

— Микроорганизмы невероятно изменчивы, этот ортодоксальный факт вам хорошо известен. Некоторые современные виды микробов и вирусов должны очень мало походить на своих предков. А вам не любопытно знать, какими были они в прошлом? Не торопитесь отвечать. Я, с вашего позволения, закончу свою мысль... К сожалению, ученым не удавалось встретиться лицом к лицу с ископаемыми бактериями и вирусами. Как правило, микробиологи сталкивались лишь с результатами их жизнедеятельности.

Я не удивился, услышав столь странную лекцию. Это была манера сэра Генри. Студенты называли это охватом в клещи.

Сэр Генри прошелся по комнате.

— Ну, а сейчас такая возможность неожиданно представилась, — тихо сказал он, — в северной части бассейна Амазонки найдено захоронение, куда еще не проникал человек. Для науки это сущий клад. Вы же знаете, что большинство захоронений и в Южной Америке и в Египте оказались разграбленными. Алчные искатели золота уносили из гробниц драгоценности, но оставляли там все виды современных микроорганизмов.

Сэр Генри смотрел на меня чуть блестящими от возбуждения глазами.

— Нужно обязательно взять пробы из погребальницы «Черного тукана». Археологи полагают, что в течение двадцати веков она оставалась абсолютно герметичной. Вы представляете себе, что там может оказаться? Микробы и вирусы с совершенно неожиданной для современной науки морфологией и физиологией, ископаемые виды бактерий, грибов, водорослей...

— Потрясающе... — без всякого энтузиазма поддакнул я.

— Не правда ли? Я так и предполагал, что вам придется по вкусу эта затея. Вылететь нужно будет завтра.

— Да, сэр, все это очень интересно, но... ведь я и Энн...

Сэр Генри отвернулся к полкам и заметил:

— Это какой-нибудь месяц, от силы два... Срок не такой уж большой. Но это по-настоящему новое и нужное дело. Такая работа может стать классическим исследованием.

...В конце концов я сказал тогда «согласен», а Энн сказала, что это «предательство».

— Ведь мы же договорились! — Ее голубые глаза потемнели.

— Я не мог! Это так интересно, я бы не простил себе потом... И всего лишь месяц... А может, я уложусь и в три недели.

— Все равно нужно быть принципиальным...

С большим трудом мне удалось ее успокоить. Мы простились нежно, но что-то осталось. Что-то неясное и мучительное.

...Бразильская гилея встретила меня воздухом, влажным и горячим, как компресс. Акклиматизация давалась мне тяжело. Две недели пропали почти даром. Я привыкал к будням вареного рака.

Цепляясь за бесконечные хитросплетения лиан и корней, я с трудом поспевал за руководителем нашей экспедиции, живым и веселым археологом из Рио, Альфонсо де Мораном.

— Милый док, чтобы привыкнуть, вам следует больше двигаться, — говорил он и таскал меня раз пять на день от маленького домика на сваях, где разместились научные кадры экспедиции, к месту раскопок. Сказав «раскопки», я, конечно, оговорился. Пирамида затерялась в сельве, и ее приходилось не откапывать, а вырывать из объятий влажного тропического леса.

Я невольно посочувствовал археологам. Их рубашки никогда не просыхали от пота. К моему приезду они уже расчистили часть стен, главный вход и лестницу, ведущую на верхнюю площадку пирамиды, где находился еще один вход.

У подножия древней усыпальницы была прорыта траншея, неподалеку от которой первобытно громоздились стволы гигантских сумаум, заросшие эпифитами и перевитые лианами.

— Нам пришлось здорово потрудиться! — объяснял мне де Моран. — Теокалли¹ держалась с помощью деревьев и лиан. Когда мы начали расчистку, возникла угроза разрушения объекта. Пришлось укрепить наиболее слабые участки.

Он махнул рукой, и только теперь я заметил в стенах пирамиды стальные скобы, удерживавшие камни от выпадения.

— Храм «Черного тукана» находится внутри теокалли. Туда можно попасть только через верхний ход. Но раньше, чем закончится расчистка, об этом нечего и думать. Вход закрыт мощной плитой, сдвинуть которую могут только механизмы. Придется ждать. Поэтому нам с вами лучше пока разработать подробный план охоты за ископаемыми микробами.

...Вечерами, когда все работы прекращались и измученные члены экспедиции разбредались по своим помещениям, мы с де Мораном ломали голову, как перехитрить окружающих нас невидимок, готовых проникнуть в гробницу одновременно с нами.

Де Моран покачивался в обтянутом антимоскитной сеткой гамаке. Изредка из-под этого савана доносился хруст и на землю летели скорлупки. Де Моран лакомился орехами сапукаяя. Я сидел рядом и сосал сочные чико. Чудесный освежающий плод примирил меня со многими неудобствами.

— В любом эксперименте есть какая-то доля риска. В данном же случае мы рискуем погубить все дело, — сказал де Моран.

Ночь в тропиках наступает быстро и всегда немного неожиданно. Будто кто-то большой деловито и хозяйственно гасит солнце, сдергивает световой полог с небес, рассыпает яркие звезды, наскоро красит в один и тот же иссиня-черный цвет и

¹ Ступенчатая пирамида с плоским верхом.

кроны деревьев, и землю, и небо, а потом уже начинает заниматься деталями: бросит матовый отсвет на узкий лист сумаумы или сверкнет призрачным огоньком в перепончатых крыльшках неведомого жука.

— Можно простерилизовать внутреннее помещение перед погребальницей, — методично развивает идею де Моран.

— А воздух? — говорю я. — Воздух, который проникает вместе с нами. Что делать с ним?

Я внимательно прислушиваюсь и принимаю к надвигающейся ночи. Сквозь тысячи звуков и запахов, рождаемых сельвой после заката, пробивается надсадный тоскующий звон мошкары и сладкий больной аромат каких-то цветов. Сельва ночью — это воплощенные тревога и ожидание, это пропасть, куда падаешь, не сознавая глубины и неотвратимости падения. Когда я немного привык к здешнему климату, то все сильнее стал ощущать гипнотическое действие сельвы, сладостное и жуткое очарование неведомой опасности и неразгаданной тайны.

— Да, с воздухом ничего не поделаешь. Он полон микробов, — все еще рассуждает де Моран.

Он выбирается из гамака и усаживается рядом со мной. Вспыхивает прожектор. Это дежурный проверяет сигнализацию. В сноп света врываются мириады мошек.

Де Моран неожиданно улыбается и говорит:

— Доктор биологии из Оксфорда — совсем как индеец. Он слушает сельву и молчит.

— Вы правы, амазонские джунгли заворожили меня, и самое смешное — я не могу понять, чем именно. Кстати, я не доктор. Всего лишь магистр.

— Нас всегда влечет загадка. Это внутри нас, в крови. А что касается ваших степеней — мне это безразлично. Не называйте только сельву джунглями. Джунгли в Индии. Здесь сельва.

Де Моран некоторое время молчит, а до меня из чернильной мглы доносится глухая опасная возня, хлопанье чьих-то крыльев, сдавленный крик неизвестного зверя.

— Это не зависит ни от образования, ни от возраста... Вы слышали что-нибудь о доне Рамосе?

Я качаю головой. Нет, я ничего не слышал об этом человеке. Скупщик каучука из Манауса. Слыл чудачком среди своих друзей и родных. В действительности же Бернардо да Сильва Рамос был настоящим ученым. Он работал в близкой мне области, искал следы ушедших цивилизаций.

Я вопросительно смотрю на археолога.

— Конечно, его преследовали неудачи. Ему не удалось найти древние города, но он многое успел сделать.

— Вот как?

— Рамос собрал около трех тысяч надписей, рисунков, криптограмм, репродукций с предметов, которые встречались ему в древних могилах и пещерах. Его находки вошли в замечательную работу «Надписи и предания доисторической Америки». Многие из них до сих пор не расшифрованы. Рамос верил, что когда-то в далеком прошлом финикийцы посетили Американский материк и заложили основы древней цивилизации где-то в бассейне Амазонки...

Голос археолога звучит напряженно. Когда де Моран возбужден, его левая рука непрерывно поглаживает колено. Сейчас она описывает концентрические круги с удивительной ритмичностью. Мне странно слушать его. Чувство неестественной раздвоенности овладевает мной. В привычный реальный мир с его четкими границами настоящего и будущего проникает расплывчатый и загадочный мотив из прошлого. Наверное, будь я в Лондоне у себя дома, я пропустил бы все это мимо ушей. Но здесь я не могу этого сделать. На меня смотрит сельва.

Над сельвой взошла луна.

Я представил себе, как выглядит храм ночью. Залитый холодным ртутным светом, он словно отлит из опалесцирующего стекла. Крутая, заросшая травой и кустарником лестница уходит в небо и тает в черной тени.

— Скажите, сеньор Альфонсо, а вы сами верите в древние финикийские поселения на Амазонке? — спросил я, набивая трубку черным венесуэльским табаком.

— Каждая встреча с таким вот сооружением, — он машет рукой в сторону пирамиды, — пробуждает во мне надежду, что когда-нибудь эта тайна будет раскрыта.

— Но возможно ли это? При столь примитивной технической оснащенности тогдашних мореплавателей...

— Что мы знаем о прошлом человечества! — горячо восклицает де Моран. — Время безжалостно, на то оно и время... Мне не кажется удивительным, что жители Тира или Сидона добрались сюда на своих судах. Финикийцы искусные мореплаватели, и их суда не чета каравеллам Христофора Колумба. Возможно... Я, во всяком случае, верю в древние города, как верил в них Фосетт. Но те, кто пытался вырвать тайну у сельвы насилем, погибали. Нужно ждать. Тайна откроется сама. Открылась же людям эта пирамида, простоявшая никем не замеченной двенадцать веков. Просто пришло ее время. А время древних городов еще не наступило. Будем ждать.

Я запомнил этот вечерний разговор только потому, что с ним у меня связано странное и острое ощущение. Раньше сельва казалась мне живой, таинственной силой, лишенной определенной формы и конкретности. Что-то вроде теплой волны, которая накрывает вас с головой, и вы теряете представление, где низ и верх, начало и конец. Живая, но неразумная стихия, действующая сразу на все органы чувств. Этой стихийной силой можно восторгаться, можно ненавидеть или бояться ее, но ее нельзя понять. Она либо освобождает вас, либо покоряет, вы раб или властелин, но никогда вы не станете собеседником сельвы.

После разговора с де Мораном сквозь завесу бромелий на меня глянули человеческие лица. У сельвы была история. Еще до наших конкистадоров по этой земле ступали ноги наших далеких предков. Неужели здесь были города, построенные моряками Тира?

...Через несколько дней, после длительных консультаций и споров с членами экспедиции, мы как-то незаметно оказались готовыми к штурму погребальницы. Новенькие, еще сохранявшие следы золотистого масла гидравлические подъемники были установлены у подножия пирамиды. От них тянулись тонкие стальные тросы, проникавшие через верхний вход в темное, пропах-

шее плесенью помещение храма «Черного тукана». Концы тросов прикреплялись к анкерным болтам, ввинченным в каменную крышку погребальницы. Оставалось нажать кнопку электрического привода — и крышка поползет вверх. Чтобы предохранить шахту от попадания микробов воздуха, отверстие предполагалось закрыть простерилизованной пластмассовой пластиной, размеры которой точно соответствовали каменной крышке. После этого я должен был спуститься в шахту, где последний раз нога человека ступала тысячу двести лет назад.

Я спускался один. Мы не могли войти туда вдвоем одновременно, так как вход был слишком узким. Каждая секунда потерянного времени грозила полной неудачей эксперимента. Микробы-современники не дремали, и нужно было отразить их сокрушительный натиск.

Мое одевание напоминало облачение хирурга перед ответственной операцией: стерильный халат, защитная маска, перчатки, чехлы на ногах. Посуда и приборы, включая и маленький прожектор, были тщательно стерилизованы. Кабель, по которому поступало питание к прожектору, тоже удалось обработать антисептическими химикатами.

— Готово! — Я вижу в одном из световых вырезов храма бледное, взволнованное лицо де Морана. Он нервничает даже больше, чем я. Еще бы... Каждый раз он ожидает какой-нибудь свехоригинальной находки.

Я киваю.

— Готово.

Раздается стук мотора. Сейчас масло под большим давлением загоняется в цилиндры. Это уже заметно — тросы натянулись и заскрипели. Легкое потрескивание — «трэк, трэк, трэк»... Крышка выдвигается из тысячелетних объятий каменного пола — «трэк, трэк, трах!». Резко и внезапно обозначился прямоугольник плиты. Пошла... Ну и махина! Интересно, как эти древние ухитрились справиться с таким весом? В ней килограммов триста, не меньше. Крышка ползет и ползет, и рабочие взялись уже за пластмассовую пластину, которой накроют входное отверстие, как только оно освободится от каменной пробки. На них тоже стерильные халаты, перчатки и маски. Нет только чехлов на ногах, ведь рабочим не придется спускаться в подземелье.

Ну, вот и все... Я даже не успел заметить, как они ловко закрыли черную дыру пластмассой. Теперь моя очередь.

Осмотревшись, я соскальзываю в узкую темную щель и нащупываю ведущие вниз ступени. Хорошо, что это не колодезь. Прожектор бросает на стены неровный пляшущий свет. Ну что ж, в них нет ничего особенного, они такие же, как и стены храма там, наверху. Но главное — не задерживаться. Очевидно, входная часть погребальницы уже заражена воздухом, проникающим из храма при смене крышек. Проход узкий и тесный. Я делаю несколько шагов. Мои плечи трутся о стены, а на голову с потолка сыплется какая-то пыль. Ступени кончились. Еще шаг. Следует не совсем понятный поворот, и я попадаю в просторное помещение. Полная пустота. Мой прожектор суетливо освещает стены, потолок, пол. Покойный жрец племени майя, видимо, был великий скромник: никаких украшений, посуды и прочей утвари в погребальнице не видно.

Возле одной из стен продолговатый серый холмик. Это как раз то, что мне нужно! Начинаю отбирать пробы. В одну колбу помещаю немного пыли с пола, в другую — со стен. Мне удалось найти и кусочки дерева, какие-то лоскутки, похожие на истлевшую ткань. Или, может, это... Но мне некогда думать — я отбираю пробы. Взяв пробу, тут же выбрасываю пинцет или лопаточку — они уже не стерильны, не пригодны для дальнейшей работы.

Колбы закрываю стерильными тампонами из ваты: если здесь есть древние микробы, они в ловушке.

Воздух в погребальнице холодный, но не такой сырой, как там, наверху. Это, пожалуй, даже приятно. Вот только примесь затхлого, душного запаха, присущего всем склепам мира, даже тысячелетнего возраста...

Вдруг что-то шелкает, и прожектор гаснет. Наверное, сгорела лампа — слишком яркой была последняя вспышка света. Тьма наваливается и топит меня. Я улыбаюсь и жалею, что эту улыбку не видят мои лондонские друзья. Охотник за микробами в объятиях мумии... Встреча с призраком в подzemелье храма «Черного тукана»... Свежий труп в древней усыпальнице...

И все же хочется скорее выбраться. Поднимаю сумку с колбами и делаю несколько шагов к выходу. Я точно помню, где находился черный прямоугольник отверстия, ведущего наверх, и двигаюсь к нему. Но натыкаюсь на стену. Значит, нужно взять чуть правее... Опять стена. Я бросаюсь влево. На какой-то миг теряю управление и бестолково мечусь по захоронению. Стена... Пропал. Замуровался. Мне делается душно, я останавливаюсь, пытаюсь собраться с мыслями. Это очень нелегко. Хочется немедленно действовать, бежать, скорее бежать из этой черной ловушки. Еще несколько секунд я, как слепой котенок, вновь натыкаюсь на стены и, кажется, совсем теряю рассудок. Похоже, что мой мозг погас вместе с прожектором. С торопливостью испорченной кибернетической машины он выбрасывает мрачные мысли и страшные предположения.

А что, если гробница снабжена автоматическим затвором, и любой переступивший ее порог захлопывается в ней, как в мышеловке?

Правда, я не слышал никакого шума... Впрочем, это ничего не значит: я был увлечен своими пробами, и потом — дверь могла закрыться бесшумно. Древние знали толк в шлифовке камней.

Нет, нужно все-таки взять себя в руки и рассуждать логично. Я опускаюсь на корточки, ставлю рядом саквояж, с удивлением отмечая, что все еще держу его в руке.

Допустим, я действительно влип — автоматика тысячелетней давности сработала. Допустим, какая-то глыба в полтонны весом действительно завалила вход и я не слышал этого. Остается сообщить друзьям наверх, что я попал в беду, и они придут на выручку. У них механизмы, патроны для взрывных работ, сверла, отбойные молотки... Но как сообщить? Крикнуть? Вряд ли они услышат мой голос сквозь двухметровую толщу камня. Постучать? Я вспоминаю ватные удары своих рук о стены гробницы и отбрасываю эту мысль. Остается ждать, через десять-

двадцать минут они начнут волноваться, поднимут пластмассовую крышку, спустятся вниз, и тогда...

А что, если глыба, завалившая выход, герметично подогнана к отверстию? Я задохнусь! На сколько хватит воздуха?

Я начинаю ощущать настоящее удушье. Понимаю, что это результат разыгравшегося воображения, но ничего не могу с собой поделать. Мне никак не удается сделать полный вдох, какой-то ком стоит поперек горла и мешает дышать. Нужно взять себя в руки. Но как это сделать?.. Я пытаюсь подсчитать пульс. Мне кажется, такая процедура должна успокоить раскодившиеся нервы. Считаю вслух. Голос у меня хриплый, срывается. Вдруг вспоминаю, что не посмотрел на часы. Подношу часы к глазам, но ничего не вижу. Очевидно, мешает резиновая перчатка. Обнажаю узкую полоску на сгибе кисти, но опять ничего не могу разглядеть — циферблат не светится. Вот досада! Я надел сегодня часы с темными стрелками! Надо их осветить. Сую руку в карман, извлекаю маленький электрический фонарик и освещаю часы.

Тусклый свет фонаря кажется вспышкой молнии. Прямо передо мной темнеет узкое отверстие выхода. Поднимаю с пола саквояж и медленно бреду прочь из усыпальницы. У выхода замечаю кабель, по которому подавалось питание к злополучному прожектору. Я возвращаюсь, собираю его и ухожу.

Я стучу в пластмассовую крышку, и она моментально откидывается. Меня встречают де Моран с сотрудниками. Они вооружены до зубов археологическими средствами нападения. Сейчас наступит торжественное мгновение: археологи ринутся в неизвестную погребальницу. Условия стерильности для них не обязательны; они могут работать там вдвоем и втроем.

— Вы быстро справились, доктор! — восклицает де Моран.

— Разве?

— Конечно. Вы пробыли там семь минут.

— Я бы справился быстрее, — говорю я, — но у меня сгорела лампа в прожекторе.

— Вот как? — де Моран хмурится. — Нужно заменить.

Они возятся с лампой, а я смотрю на них и не могу понять... себя. Что стоило мне детально, сантиметр за сантиметром, ощупать стены? Смотрать кабель? Ведь он привел бы меня к выходу! А как мог я забыть о карманном фонаре? Нет, хорошо, что мои лондонские друзья не видели меня в подzemелье храма «Черного тукана».

— Сейчас же начинаю готовить образцы к дороге, — говорю я де Морану. Он кивает, но, кажется, не слышит меня — он уже там, внизу, рядом с тысячелетним прахом жреца.

Подготовка образцов к дальней перевозке заняла у меня много времени. Каждую колбочку со стерильно обработанной поверхностью я помещаю в широкогорлую стеклянную банку, тоже простерилизованную в специальном автоклаве. Банки запечатываю в особые контейнеры, в которых их можно транспортировать хоть на край света. Таких контейнеров набирается больше десятка. Когда они выстроились на полу походной лаборатории, я почувствовал, что дело сделано.

Скоро встречаюсь с де Мораном. Вид у него ослепительный.

— Что-нибудь нашли? — спросил я.

На темном от загара лице блеснули фарфоровые зубы.

— Археологи никогда не говорят «да», пока не отбросят тысячу «нет». Есть кое-что... Но для обработки материала нужно время...

— Разговор с жрецом племени майя, записанный на магнитную пленку? Координаты древних городов? Письмо финикийцев со штампом «Авиа»? — попытался я.

— Можете не продолжать. Оттиск статьи о храме «Черного тукана» я вышлю вам сразу же после ее выхода в свет. Куда удобнее, в Лондон или в Оксфорд?

Не знаю, что дернуло меня ответить:

— Боюсь, что я приеду за ним сюда...

— Отлично, дружище! Когда же вы приедете?

— Еще ничего не знаю. Я далеко не уверен, но...

— Зато я знаю, док! Это зов сельвы! Вы конченный человек, док. Вы быстро забудете Европу. Жизнь в Бразилии...

— Напрасно стараетесь, дорогой Альфонсо, добродетели сельвы меня не интересуют, меня волнуют ее пороки.

Де Моран осекся и удивленно посмотрел на меня. Затем быстро переключился на излюбленную тему. Он стал уверять меня, что археологи Бразилии находятся накануне великих открытий.

Я не слишком внимательно прислушивался к его словам. Мне запомнилось только, что около города Дураваду найдена камея египетского происхождения, а в Серра Маранжу — финикийские стеклянные бусы и серьга с изображением нильского крокодила.

— Как могли попасть в Бразилию все эти вещи? — отчаянно жестикулируя, наступал на меня де Моран. — А бледнолицые индейцы? А изображения ленивца и тюленя, выгравированные на склонах реки Риу-Урубубу?

— Хватит, хватит, дорогой сеньор! — взмолился я.

Де Моран рассмеялся. Он, кажется, хорошо понимал меня.

...Тогда мне удалось отвязаться от темпераментного археолога, и, может быть, отрывочные сведения, случайно застрявшие у меня в голове, благополучно выветрились бы из нее через неделю. Откровенно говоря, меня не очень волновали все эти древние тайны, запутанные и косноязычные, как священное писание. Затерянные города, Атлантида, финикийские корабли на Амазонке, связь Америки с Африкой — все это было, бесспорно, любопытно. Но не более. А разве мало других интересных вещей?

Но наш последний разговор я запомнил глубоко и беспокожно. Точнее, я припомнил его уже потом, в Оксфорде, и пережил заново гораздо острее и глубже, чем в первый раз.

— А вы знаете, док, — сказал де Моран, — в ваших пробирках может быть скрыто разрешение одного из наиболее дискуссионных вопросов мировой науки.

— Вы, кажется, собираетесь перейти в мою веру? Bravo! Загадки вируса и клетки дадут вам не менее жгучие ощущения, чем все эти толтеки, ольмеки и усопшие жрецы.

— Вы меня не так поняли. Я вторгаюсь в ваши владения, соблюдая интересы усопших жрецов.

— Расскажите, Альфонсо. Мне это кажется по-настоящему интересным.

— Смотрите же, док! Вы рискуете нарваться на целую лекцию. Начать ведь придется издалека.

— Иду на риск. Рассказывайте.

Но он замолчал, сосредоточенно массируя пальцами гладко выбритый подбородок.

— Я мысленно измеряю ваше невежество. И не знаю поэтому, с чего начать.

— Не стоит мерить. Невежество беспредельно. А начать можете хотя бы с Нового царства, — сказал я первое, что пришло мне на ум.

— С Нового царства? Это идея... Кстати, знаете ли вы, что Новое царство майя действительно возникло заново, и отнюдь не на месте Древнего царства?

— Логический парадокс? Старое не предшествовало новому?

— Вы угадали. Города Нового царства были построены на совершенно девственной почве, вдали от родных пенат. Очаги древней культуры сосредоточены в Гватемале, Гондурасе, Чиапаса, Табаска; Нового — на севере Юкатана.

— Экспансионистские устремления ацтеков и инков?

— Нет. Не армия и не отдельные колонисты переселились на север, а весь народ майя. В один прекрасный, точнее — злосчастный день целый народ покинул обжитые города, величественные храмы, могилы предков и отправился в далекий путь, чтобы отвоевать у лесов и болот место для новой страны.

— Это что, очередная смелая гипотеза?

— К сожалению, это истина в конечной инстанции.

— Мне как естественнику нужны доказательства.

— Они есть, мой друг. Они есть. Это календарь. Точнейший в мире календарь майя. Кстати, у майя длина года исчислялась — дайте я напишу — в 365,242129 дня. Современные же астрономические исчисления дают величину 365,242198.

— Да. Я что-то такое припоминаю. Ошибка в пятом знаке после запятой! Поразительная точность.

— Так вот, народ, создавший такой исключительный календарь, стал его рабом. Майя строили свои великолепные сооружения отнюдь не тогда, когда они были им необходимы. Только по указанию календаря. Каждые пять, десять, двадцать лет они возводили новую постройку и высекали дату на камне. Они поступали так с удивительной регулярностью на протяжении веков, о чем свидетельствуют сохранившиеся на сооружениях даты. Роковую регулярность могла прервать только катастрофа или эмиграция. Поэтому, если мы видим, что в определенное время в том или ином городе строительство прерывается, а в другом оно приблизительно в этот же период только начинается, у нас есть право утверждать, что население покинуло свой город и построило другой.

Целый народ покинул в 610 году свою великую страну и переселился на дикий север. И никто из беглецов не возвратился на оставленную родину. В опустевшие города вползла сельва.

— Но почему?! Почему они это сделали?

Де Моран усмехнулся устало и горько, точно он сам когда-то покинул вместе с народом майя дом свой.

— Я не знаю... И не знает никто. Это необъяснимо. Сельва

научила покоренные развалины своему удивительному молчанию... В оставленных городах не найдено никаких следов чужеземного завоевания или катастрофы, способной прогнать неведомо куда целый народ. Вот почему, милый док, главной причиной падения Древнего царства некоторые мои коллеги склонны считать какую-то странную эпидемию. Теперь вы понимаете, почему я вторгаюсь в вашу, как вы сказали, веру?

Что я мог ему ответить? Мне было мучительно стыдно и удивительно радостно.

«Скорее назад, — подумал я, — и за работу», — и взглянул на приготовленные к отправке контейнеры. Состояние было такое, точно я увидел их впервые, а де Моран объяснил мне, что в них скрывается. Сначала объяснил, а потом подарил.

— Так что вы поставьте меня в известность, как там у вас пойдут дела, — сказал он, перехватив мой взгляд.

— В ту же минуту, Альфонсо! По телефону.

...После сельвы Лондон кажется серым, прокопченным ущельем.

Сэр Генри встретил меня, как всегда, радушно и спокойно. — Можете не рассказывать, я все знаю из ваших писем, — улыбнулся он. — Я рад, что все обошлось благополучно. Теперь нужно возможно тщательнее провести культивирование штаммов.

— Если там есть микробы, сэр.

— Конечно. Но я думаю, что их там достаточно. Вы привезли любопытные образцы. Мы, конечно, используем наш биотрон. В Оксфорде месяц назад поставили новую модель, «В-8». Нужно будет воспроизвести климатические условия джунглей. Это главное. Затем необходимо подобрать элективные среды... Впрочем, порядок исследований вам известен. Где сейчас образцы?

— Я направил их прямо в Оксфорд.

— Отлично. Советую не терять времени.

Наступила пауза, и я, наконец, решился.

— Простите, сэр, разве Энн нет дома?

Он внимательно и грустно посмотрел на меня, сухо сказал:

— Ее нет. Она решила немного отдохнуть на юге.

— Вот как... Разве она не получала моих писем?

— О нет. Все ваши письма я отослал ей.

Он опять взглянул на меня.

— Я говорил с ней по телефону перед вашим приездом и сообщил, когда прибывает самолет, — быстро сказал он. — Полагаю, вам лучше самому поговорить с ней. У меня как-то никогда не получалось серьезного разговора с женщинами. Даже с близкими. Мне кажется, она немного сердита на вас за ваше опоздание.

— Опоздание?

— Разумеется. Вы рассчитывали пробыть там три недели, а пришлось провозиться больше двух месяцев. Я-то отлично понимаю, как это все случается, коллега, и пытался объяснить ей. Но... боюсь, не достиг цели. Она называет это предательством. Женщины любят громкие, но очень малозначащие слова. Я считаю, вам самому следует поговорить с ней. Все еще уладится, раздражение пройдет, и, поскольку вы здесь, рядом с ней...

— Объясниться с Энн? Сказать ей, что мне нужно вернуться туда?

Сэр Генри поднял брови и надел очки. Казалось, он не только хотел понять значение этих моих слов, но и увидеть то, что скрывалось за ними.

Он подошел к рабочему столу и для чего-то подвинул к себе старенький цейсовский микроскоп с латунным, позеленевшим от времени кожухом.

— Я мог бы уехать ненадолго, сэр Генри, — сказал я, стараясь скрыть смятение. — Месяца на четыре или на полгода, но не знаю, как на это посмотрит Энн. Ей надоело ждать, да и мне, признаться, тоже. Шесть лет, сэр! Я понимаю ее, но мне бы хотелось там еще раз побывать. Боюсь, что после женитьбы я уже не смогу этого сделать.

Сэр Генри тихонько поглаживал окуляр микроскопа.

— Видите ли, коллега, — сказал он, — этот нехитрый прибор отнял у меня когда-то привязанность женщины, которую я любил всеми силами молодой души. — Он слегка поморщился, чувствуя, что неожиданное признание, да еще в такой высокопарной форме, несколько странно звучит в его устах. Но договорил: — Я не переставал любить ее всю жизнь, но она постепенно охладела ко мне. Классический случай. Ей мешал третий. Но он был нужен мне, этот третий. Я не мог отказаться от микроскопа, а она не могла простить мне этого. Жены коллег говорили, что наука разбила мое семейное счастье. Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Да, сэр.

— Может быть, вам удастся найти с Энн общий язык. Вы понимаете меня?

— Да. Я постараюсь.

— Дай вам бог. Я был бы очень рад.

В Оксфорде я с головой погрузился в работу. Новая модель биотрона производила отличное впечатление. Ее огромное коническое стекло отражало все солнечные зайчики, которые прыгали по стенам лаборатории.

Я с некоторой опаской осматривал многочисленные термометры, манометры и психометры, со всех сторон окружающие биотрон. Потом я понял, что это очень милая добродушная штука, которая только и ждет, когда же ею кто-нибудь займется. Единственное, что нужно было биотрону, — это образцы. Они у меня как раз были, и машина стала прилежно трудиться. Я всегда с недоверием относился к сложным установкам. Но эта не капризничала. Она была очень интеллигентна. Она гудела, шелкала, включалась и выключалась, скрупулезно поддерживая температуру, давление и влажность на том уровне, который был мною задан.

Когда в биотроне удалось воссоздать климат амазонской сельвы, я поместил туда чашки Петри с питательными средами, на которые высеял собранные образцы...

У меня было два сорта питательных сред. В одних чашках я подмешал к агар-агару антибиотик, убивающий грибы. В других, наоборот, был помещен антибиотик, уничтожающий бактерии. Я искусственно предупредил акты антагонизма между микробами. Теперь можно было не опасаться, что при совместном

выращивании один вид микроорганизмов подавит развитие другого. Каждую пробу с ископаемыми микробами я засеивал в ту и другую питательную среду. Если среди микробов есть водоросли, актиномицеты, грибы, они будут развиваться там, где убиты бактерии. Бактерии же будут отлично себя чувствовать на участках, свободных от грибов. Итак, посев совершен, оставалось ждать.

Прошли сутки. Никаких признаков жизни в чашках Петри не проявлялось. Мутноватая, чуть опалесцирующая жидкость не изменялась. Все оставалось таким же, как в контрольном опыте. Гладкая поверхность агар-агара тоже не подавала никаких обнадеживающих сигналов. Тридцать часов, сорок часов... Ничего!..

Сэр Генри звонил мне через каждые четыре часа, и всякий раз я слышал тихий вздох разочарования.

Сорок восемь часов... Двое суток... ЕСТЬ! На поверхности питательной среды возникают темные полосы. Ожили! Ожили после двенадцативекового сна!

Меня поздравляют с победой, жмут руки, сэр Генри прислал телеграмму, в которой обещает приехать посмотреть моих ископаемых зверюшек. Мне не терпится узнать, кого же я вызвал к жизни.

На четвертые сутки большинство чашек Петри украсилось причудливыми соцветиями колоний микробов. Можно начинать исследования.

...Ожили в основном грибковые культуры. Среди них преобладают актиномицеты — отличные производители антибиотиков. Возможно, медицина и получит новые лекарственные вещества, обладающие необычными свойствами. Но меня интересует не это. Остается ждать и надеяться.

Пока же можно позвонить Энн. Теперь это даже нужно сделать. Ведь победителей не судят...

Она спокойно выслушала мою длинную восторженную речь.

— Хорошо, я приеду, приходи сегодня к семи в кафе... — Она назвала уютный уголок, куда мы часто забирались в годы моего студенчества.

У входа в кафе я увидел вызывающе модную машину. Единственную. Других машин не было. Я почувствовал к ней инстинктивную антипатию. Я толкнул дверь кафе и сразу увидел Энн.

О, Энн! Она совсем не изменилась. Впрочем, нет, она курила. Раньше я не видел ее с сигаретой. Потом, присмотревшись, я заметил, что Энн похудела и загорела.

— Садись, — сказала она, — что ты будешь пить?

Мне захотелось пива. Энн пила какую-то жижу лимонного цвета. Я стал рассказывать. Сжато и точно, как сэр Генри.

— Энн, что с тобой? Ты меня не слушаешь?

— Ничего, я слушаю и думаю. Продолжай.

Я начал говорить ей про де Морана, но она перебила меня:

— Все это я уже знаю, мне рассказали отец и другие люди. Что ты собираешься делать дальше?

Наверное, я все же очень сильно устал. Раньше я никогда не испытывал раздражения, если рядом была она.

— Ну, если тебя это не интересует...

— Меня все это, конечно, очень интересует, — неожиданно ласково сказала она. — Но пора подумать о нас. Наше буду-



щее... Я хочу ясности. Ты должен высказаться определеннее. Это теперь главное... Собираешься ли ты оставить университет и поступить в фирму? Мы же договорились, но ты опять обманул меня.

— Энн, я не обманывал тебя, дорогая. Пойми меня правильно. Я не могу бросить работу на полдороге. Это будет зря потраченное время, и только. Мне нужно закончить исследование. Возможно, придется снова слетать в Бразилию...

Я осекся. После долгой разлуки нельзя говорить о новом расставании.

— Вот как... — губы Энн сжались. — И надолго?

— Не знаю. Месяца на два, на три.

— Значит, на четыре, на пять, на шесть...

Она вздохнула. Я видел, что она решила быть сдержанной и последовательной, чего бы ей это ни стоило.

— Хорошо, — сказала она, — может, ты объяснишь, кому нужна твоя затея, кроме тебя самого?

Я задумался. Признаться, я был в растерянности. Кому нужно твое любимое дело? Конечно, тебе и...

— Науке, всем специалистам-вирусологам.

— И наука будет платить тебе за эти бредовые идеи? Кто станет финансировать такое предприятие?

— Конечно, больших денег здесь ожидать не приходится. Совсем наоборот. Эти вещи делаются на свой страх и риск, ты же знаешь. Успех приходит потом... А иногда и вовсе не приходит. Но я, слава богу, не бизнесмен...

— Отсутствие деловитости не является достоинством. Здесь нечем хвастаться. Меня поражает в тебе одно...

— Что же?

— Неужели ты не понимаешь, что тебя ждет?

Я пожал плечами.

Она замолчала и отвернулась к темному стеклу. Происходило непоправимое, и ничего нельзя было сделать.

— Ну, — наконец сказала она и повернулась ко мне, — а если я тебя очень попрошу, попрошу так, как я умею просить — ты знаешь, как я умею просить, — ради меня оставь немедленно университет и никогда — понимаешь, никогда — не уезжать в Южную Америку, ты сделаешь это? Для меня? Понимаешь, для меня?

У меня пересохло в горле.

— Эмм...

Она яростно замотала головой, золотые волосы превратились в сверкающий водопад.

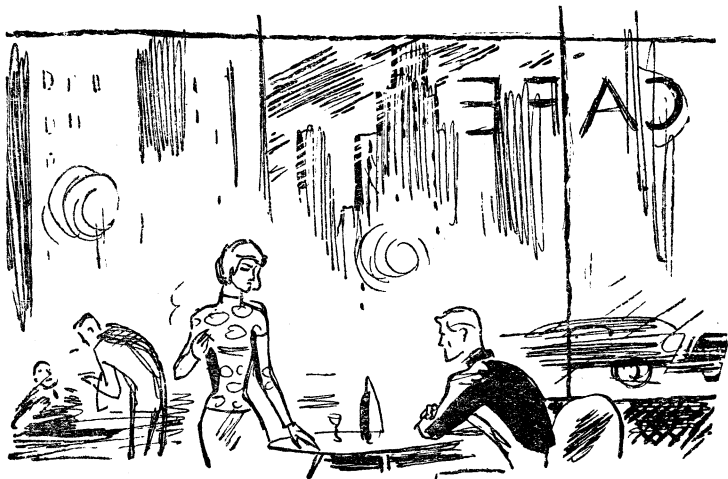
— Только да или нет! И сразу же!

— Когда это нужно сделать? — спросил я, глотая сухую пустоту.

Она подняла на меня полные слез глаза. Только теперь я видел боль, которую причинял ей.

— Завтра.

Как мне хотелось сказать ей «да». Но это значило растянуть эту боль и обиду на всю жизнь, на те тысячи ночей и дней, которые мы проведем вместе.



— Нет, — сказал я.

Мне показалось, что сейчас она меня ударит.

— Пойдем, — она встала и пошла к выходу. Я оставил монету на столе и пошел за ней.

— Я поеду одна.

...Я увидел уносящиеся в вечер огни машины, когда взял в руки чашечку с мутным агар-агаром и посмотрел на свет. Единственная чашечка, которая не обманула меня. Чашечка за номером 7-Па.

В водянистом круге предметного стекла жгуче горели красивые кристаллики. Только вирусы могли образовать эту крохотную рубиновую друзу! Я отодвинул микроскоп и вытер глаза. Зажмурился, стараясь прогнать ощущение песка под веками.

Потом укрепил микротом и, вновь впившись в окуляр, сделал поперечный срез. Осторожно вынул предметное стеклышко и отнес на электрономикроскопию.

Через два часа у меня на столе уже лежали влажные фотографии. Увеличение в 150 тысяч раз позволило зафиксировать отдельные вирусные частицы. Это были шарики, построенные из длинных сложенных и закрученных нитей.

Победа отлилась в несколько строк, начертанных авторучкой: «Оболочка вируса состоит из 60 белковых единиц, имеющих почти шаровидную форму; единицы образуют в пространстве 12 групп по 5 единиц в каждой...» и далее в том же духе.

В тот первый нескончаемый и короткий, как жизнь, день вирус был привит кроликам, морским свинкам, белым мышам, канарейкам и обезьянам. Для этого пришлось поехать за город, на небольшую ферму, где содержались животные.

Прошел еще один день. И еще два.

За окном громыхла гроза, озаряя небо нежно-сиреневыми вспышками. Но я почти не глядел в окно.

Передо мной тянулись круглые глазки герметических блоков, в которых содержались зараженные животные. Первой умерла обезьянка. Маленькая макака с трагическим личиком. Потом, как ни странно, погибла канарейка. Больше никто не умер. Кролики, морские свинки и мыши чувствовали себя превосходно.

Проведенное в боксе вскрытие дало поразительные результаты. Сердце, печень, почки, легкие и селезенка погибших животных были покрыты каким-то серебристым налетом. Я попросил сотрудников взять этот налет и приготовить из него препарат для дальнейшего исследования. Но время было уже позднее, и мы решили отложить дело на другой день. Теперь уже можно позволить себе не спешить... Даже термостат с великолепной чашечкой 7-Па, который я постоянно таскал с собой, я запер на этот раз в сейф.

Таинственный убийца, заставивший народ майя покинуть свою родину, был пойман. Мы заперли ферму и поехали в Оксфорд.

В ту же ночь я вызвал Рио и рассказал обо всем де Морану. Он захохотал от восторга и заверил меня, что предназначенная мне Нобелевская медаль уже отлита. Я с трудом вырвал у него обещание хранить некоторое время тайну серебристого вируса.

А двумя часами позже в крышу фермы ударила молния. Ферма сгорела дотла со всем содержимым. Нелепый случай. Забыли поставить громоотвод.

Я бросился в лабораторию. Но ни в одной из оставшихся в биотроне чашек Петри серебристой культуры не оказалось. Все было кончено.

Что мне оставалось делать? Вновь отправиться в сельву на поиски вируса? Но я знал, новых пирамид с нетронутыми погребальными камерами не обнаружено. Искать их самому? Я был к этому совершенно не подготовлен.

И все же я решил ехать в Бразилию... Может быть, потому, что не хотел, не мог оставаться в Англии.

А дальше все более или менее ясно. Причинно-следственные связи прослеживаются с изумительной точностью. Можно даже составить схему:

1. Цель — серебристый вирус.
2. Что для этого нужно — найти нетронутую погребальницу.
3. Где ее можно встретить — в покинутых городах.
4. Где искать покинутые города — в Шингу, где искал их Фосетт.
5. Вытекающие отсюда ближайшие задачи — проследить путь Фосетта.

...Семь лет я потратил на то, чтобы вплотную приблизиться к решению этой «ближайшей задачи...».

Де Моран сделал из меня специалиста по древней культуре Бразилии; с его помощью я изучил португальский язык и несколько индейских диалектов. Ортего Миранда помог достать необходимые средства для снаряжения нескольких экспедиций. Сэр Генри завещал свое маленькое состояние на организацию биохимической лаборатории. Летчики бразильской авиации не жалели своих «дакот», чтобы доставить меня в тот или иной район недоступной сельвы.

Что же оставалось делать мне?

Я пошел по следам полковника Перси Гаррисона Фосетта.

Каков бы ни был конец этого исчезнувшего в зеленом безмолвии Шингу человека, он прожил хорошую жизнь. Он всегда рассчитывал только на себя, он знал глубину своего одиночества. Коммерческий успех его путешествий равнялся нулю.

Он умел выбирать верные дороги, и я последовал за ним.

„ТЕБЕ НЕЧЕГО ОПАСАТЬСЯ НЕУДАЧИ“

Итак, о последней экспедиции полковника Фосетта. Обратимся к документам.

«Случались и у меня разочарования, — писал Фосетт в 1925 году. — После экспедиции в Гонгухи я некоторое время сомневался в существовании древних городов, но затем увидел руины, свидетельствующие об истинности хотя бы части рассказов. Все еще представляется возможным, что моя главная цель Z с остатками исконного населения не что иное, как город в лесу, обнаруженный Рапозо в 1753 году. Он находится не на реке Шингу и не в Мату-Гросу. Если нам суждено когда-нибудь

достичь Z, мы, вероятно, задержимся там на значительное время, ведь только безуспешные путешествия кончаются быстро».

Последние строчки отчеркнуты мною. Я и далее буду подчеркивать наиболее важные места цитируемых документов. Как жаль, что эти строки своевременно не привлекли внимания исследователей! Но об этом позже...

Полковник Фосетт предполагал начать свой маршрут от Лагеря мертвой лошади (11° 43' южной широты 54° 35' западной долготы). Двигаясь к северо-востоку, он намеревался в кратчайший срок выйти к реке Шингу. «По пути мы обследуем древнюю каменную башню, — писал Фосетт, — навещающую ужас на живущих окрест индейцев, так как ночью ее двери и окна ярко освещены...»

Форсировав Шингу, экспедиция должна была углубиться в сельву (на полпути между Шингу и Арагуайей), чтобы, повернув к северу, достичь по водоразделу 9—10° южной широты. Далее путь лежал к Санта-Мария-ду-Арагуая, где начиналась тропа к реке Токантинс. Таким образом, маршрут пролегал между 10° 30' и 11° южной широты до высокогорья между штатами Гояс и Байя к совершенно неисследованному и, по слухам, густо заселенному дикими племенами району. В этой высокогорной стране Фосетт и надеялся отыскать следы обитаемых городов. Оттуда экспедиция должна была выйти к реке Сан-Франсиску.

«...Пересечем ее (Сан-Франсиску) где-то около Шики-Шики и, если хватит сил, посетим старый покинутый город 1753 года, который лежит примерно на 11° 30' южной широты и 42° 30' западной долготы. На этом наша экспедиция закончится, и, выйдя к железной дороге, мы поездом доедем до Байи...»

Но Фосетту не суждено было выйти к берегам Сан-Франсиску... Где оборвался его маршрут? Достиг ли он заветной цели? Недвижной стеной стоит молчаливая сельва. Она глушит зовы о помощи, собирая на дне горячих болот несбывшиеся надежды.

«Мать отчаянья и туманов!» Призрачный золотой блеск Эльдорадо манил к себе тысячи мотыльков. Где они теперь? Даже имена их высосали туманы. Амброзио де Альфингер, Бартоломе Сайлер, Георг фон Шнайер, Себастьян де Балалкасар, Николас Федериани и еще десять тысяч безымянных.

«...Если намеченное путешествие окажется безрезультатным, это будет означать конец всем моим трудам, ибо большего я уже не совершу. Меня неизбежно объявят фантазером и заклеят стяжателем, стремившимся лишь к личному обогащению. Кто поверит, что не ишу для себя ни славы, ни денег и в моих начинаниях нет корыстного расчета, а одна лишь надежда, что в конечном счете они принесут человечеству пользу, которой будут оправданы многолетние поиски?..»

Великий исследователь с сердцем Дон-Кихота ошибся. Никто не посмел обвинить в стяжательстве бескорыстнейшего подвижника, который всей жизнью своей заплатил за прекрасную мечту. Но что до того сельве? Конквистадор или авантюрист, ученый или пророк, поверивший в затерянные города Атлантиды — ее хватит на всех. Безмолвие...

В январе 1925 года Фосетт, его старший сын Джек и товарищ сына Рэли, взяв билеты до Рио-де-Жанейро, поднялись на

борт парохода «Вобан» компании «Лэмпорт и Хольт». После нескольких дней плавания по спокойному, как озерная гладь, океану пароход благополучно пришвартовался к причалам Рио. Короткий отдых в отеле «Интернациональ» (кстати сказать, в саду отеля было впервые опробовано закупленное в Нью-Йорке снаряжение) — и маленькая экспедиция выступила в путь. Путешествие началось великолепно. Англичанам был предоставлен отдельный вагон президента дороги.

Пастбища, болота у речных излуч, низкорослые леса. В общем это был спокойный и ничем не примечательный путь: Рио — Сан-Паулу — Корумба.

Я уверен, что и теперь, почти через сорок лет после Фосетта, эта дорога мало изменилась. Бесконечный и однообразный пейзаж тропической Америки. Если вам повезет, вы увидите несколько страусов, стаю попугаев или громадного паука-птицееда.

Дальнейший путь экспедиции пролегал по реке Парагвай. Болотистые берега, стада аллигаторов и тучи комаров. Впрочем, точно так же можно было бы охарактеризовать и любую другую реку Амазонского бассейна. Тихоходный грязный баркас «Игуа-теми», который, кстати, до сих пор курсирует по Парагваю, тоже без всяких приключений доставил путешественников в Куябу. Возможно, мое описание страдает излишней сухостью. Молодым спутникам Фосетта, наверно, запомнилась и ночь в Порту-Эсперанса, и бразильское фейжадо из черной фасоли, превосходный кофе с джемом гоиябада, банкет в английском посольстве в Сан-Паулу, знаменитая змеиная ферма в Бунтантане и огни ночного карнавала. Но меня интересует лишь та часть маршрута Фосетта, которая осталась неизвестной для географов и историков. Я спешу скорее довести повествование до Лагеря мертвой лошади.

Дыхание Шингу вы почувствуете еще за три дня до прибытия в Куябу, как только ваш баркас войдет в приток Парагвая Сан-Лоренсу. Берегов у Сан-Лоренсу нет. Вокруг, насколько хватал глаз, сплошные болота. Днем они обрушиваются на вас несметные эскадрильи комаров, а после захода солнца — армады ночных «бомбардировщиков» — термитов.

Иногда к воде подходят капибары. Пьют, запрокидывая после каждого глотка голову, и медленно исчезают в перепутанных зарослях ползучего вьюнка. И лишь по едва заметному качанию широких, как опахала, листьев дикого щавеля можно проследить их путь до узкой полосы деревьев. Дальше — болота с небольшими островками мангровы и зловонными разводами, кишашими анакондами и малярийными комарами. А небо над головой бездонное и синее. И неподвижно парит в этом небе чернобелый гриф, готовый кануть с огромной высоты на какую-нибудь окровавленную падаль. Вот каков путь до Куябы.

Я проделал его трижды. И каждый раз мне мерещился худой, аскетически стройный Фосетт...

Где-то там З. Покинутые города из красного камня. Оплетенные лианой ступенчатые пирамиды, растрескавшиеся мраморные плиты, циклопические арки, скрытые зеленью наступающей сельвы. Красный город. Последний островок...

4 марта экспедиция прибыла в Куябу. «Мы зашли к Фредерику, — писал Фосетт-младший, — человеку, который должен

обеспечить нас мулами, но он куда-то ушел до воскресенья... Seretanista¹ (нечто вроде нашего проводника), которого папа хотел взять с собой, умер»...

Счастье начало изменять Фосетту. Еще ничего не произошло. На асфальте небосклоне появилось только крохотное дымчатое облачко. Откуда же эта тревога, щемящая тоска? Может быть, предчувствие?

Нелепое предчувствие! Вперед! Сразу же за Куябой путникам предстоит пересечь местность, покрытую кустарником. Пять лиг² и безводное плато — чапалос, за которым потянутся бесконечные поля сухих кустарников и выжженных на солнце трав. И так до самого поста Бакири. Только через два дня пути от поста начнет попадаться первая дичь. Нужно точно рассчитать провиант, чтобы и не взвалить на себя лишней тяжести и не умереть с голоду.

Я дважды проделал этот путь. Первый раз я еле добрался до Бакири. К счастью, там были люди, которые накормили меня и дали на дорогу мешок тапиоковой муки и копченый окорок капибары. Иначе... Но вернемся к Фосетту.

14 апреля путешественники получили почту. Это были последние вести из Англии. На двадцатое назначено выступление, а мулов все еще нет.

Наконец мулы доставлены. Восемь мулов, две лошади и две собаки. Наняты и проводники: «Очень учтивый человек по имени Гирдения и трудолюбивый темнокожий парень, который отзывается на любое имя».

Буквально накануне выступления Фосетту сообщают интересные сведения. И опять они проходят мимо внимания исследователей! А ведь это путеводная звезда, которая навела меня на след... Впрочем, лучше ознакомьтесь сначала с выдержками из письма Фосетта от 14 апреля:

«...Один мой знакомый со скотоводческого ранчо рассказал, что, будучи мальчиком, сидел как-то со своими родителями на веранде дома, находящегося в шести днях пути отсюда, и время от времени слышал странные шумы, доносившиеся из леса на севере. Он говорит, что это было нечто вроде свиста, как от ракеты или большого снаряда, взрывающегося ввысь, а затем падающего в лес с таким «бумм-бумм». Он не знает, что это такое, и, мне думается, речь идет о каком-то метеорологическом феномене, связанном с высокогорными вулканическими областями, подобно тому, какой имел место в Даржилинге; там между порывами муссона слышались звуки, которые принимались жителями за артиллерийскую канонаду. В других местах этого возвышенного района тоже слышны звуки «бум-бум» и какие-то всхляпы, навещающие ужас на тех, кто слышит их.

Мой знакомый говорит, что неподалеку от его ранчо на реке Паранатинге есть длинная прямоугольная скала, в которой проделаны три сквозных отверстия, причем среднее закрыто и вроде

¹ Житель сертаны (п о р т у г.).

² 1 лига — 5,9 километра.

как замуровано с обеих сторон. За скалой можно увидеть тщательно скрытую надпись из четырнадцати странного вида иероглифов. Мой знакомый обещает провести нас туда, чтобы сфотографировать надпись. Индеец с его ранчо знает другую скалу, покрытую такими же знаками; мы собираемся обследовать и эту скалу.

Другой человек, живущий на чападе — высоком плато, расположенном прямо на севере отсюда и являвшемся когда-то побережьем древнего острова, — сказал мне, что видел скелеты крупных животных и окаменелые деревья. Он знает о надписях и даже фундаментах доисторических построек, находящихся на этой же чападе. Несомненно, мы на краю той области, которую ищем. В самом центре одной из обширных травянистых равнин поблизости отсюда возвышается большой камень в виде гриба — какой-то таинственный, непонятный монумент.

То древнее сооружение, которое стоит между Z и пунктом, где мы покинем цивилизованный мир, по описаниям индейцев представляет собой нечто вроде толстой каменной башни. Они очень ее боятся, потому что, по их словам, видят по ночам свет, льющийся из ее двери и окон. (Опять эта башня!) Я предполагаю, что это и есть тот самый свет, который никогда не гаснет. Другим основанием для страха служит то, что башня стоит на территории троглодитов морсего — народа, живущего в ямах, пещерах, иногда в густой листве деревьев.

Не так давно, когда я впервые привлек внимание к Мату-Гросу своей деятельностью, образованному бразильцу, жителю этого города, совместно с армейским офицером было поручено нанести на карту одну из рек. Работавшие у них индейцы рассказали, что на севере существует какой-то город, и вызвались провести их туда, если они не боятся встречи с ужасными дикарями. Город, как рассказывали индейцы, состоит из низких каменных построек и имеет много улиц, пересекающихся под прямым углом; там будто бы есть даже несколько крупных зданий и огромный храм, в котором находится большой диск, высеченный из горного хрусталя. На реке, которая протекает через лес, расположенный у самого города, есть большой водопад, и грохот его разносится на много лиг вокруг. Ниже водопада река расширяется и образует огромное озеро, воды которого стекают неизвестно куда. Среди спокойных вод ниже водопада видна фигура человека, высеченная из белого камня (может быть, кварца или горного хрусталя), которая ходит взад-вперед на месте под напором течения.

Это похоже на город 1753 года, но место, указываемое индейцами, совершенно не совпадает с моими расчетами. Мы сможем посетить его по пути или, если позволят обстоятельства, пока будем находиться в Z.

Мой знакомый, хозяин ранчо, рассказал мне, что однажды он привез в Куябу индейца одного отдаленного и своенравного племени и стал водить его по большим церквам, думая, что они произведут на него впечатление. «Это пустыня! — сказал индеец. — Неподалеку от мест, где я живу, есть здания куда больше, выше и красивее этих. У них тоже широкие двери

и окна, а посередине стоит столб с большим кристаллом, который освещает светом все внутри и ослепляет глаза!..»

В этом отрывке весь Фосетт. Увлекающийся, непреклонный, неустрашимо идущий к намеченной цели, наивный и легковерный, как ребенок.

«Где факты?» — спросит кропотливый исследователь, знающий всю географическую карту от полюса до полюса и никогда не покидавший своего стола. Действительно, где факты? «Один человек сказал...» «Какой-то индеец сказал...» «Мне рассказывал какой-то бразильеро, которому индеец из дальних мест...» Каб-бок-ло, больной серингейро, индеец трумаи, индеец шеренто... Где же безупречные, строгие факты, на основе которых проводят дискуссии, собирают экспедиции, наконец, отпускают необходимые средства?

А какие факты были у Колумба, направившего свои утлые каравеллы на поиски пути в Индию? У Магеллана? У Кука, решившегося разрушить академический миф о Южном материке? Наконец, у Шлимана, отправившегося на раскопки Трои с томиком «Илиады»? Заветная цель была в сердце. Перед глазами. На расстоянии вытянутой руки. В тысячи раз более реальная, чем самые тривиальные и скучные истины, она сверкала и звала.

Фосетт верил в свои города, знал в них каждую улочку, самую маленькую трещину на обгрызенных дождями и ветром камнях. Он не искал их, нет. Он шел к ним, как спешат навстречу далекой родине или к любимой женщине после долгой разлуки.

И то, что для многих звучало мифом, для Фосетта было неопровержимым подтверждением его правоты. Индеец? Золотоискатель? Важный бразильеро? Солдат? Скотовод? Метис? Какая разница, кто! Главное, что они видели! Где? Не имеет значения. Они могли и ошибиться. Все равно, он отыщет свою цель.

Она ждет его. Вперед!

Что же касается средств на экспедицию, то и здесь выход найдется. Она будет маленькой, всего три человека, своих, надежных, которым не пужно платить. Ведь денег очень мало. Полковник Фосетт не связан ни с армией, ни с промышленностью. Его не поддерживает деловой мир. Поэтому ученый изворачивается, как ему подсказывают опыт и умение. Он решает кое-что продать, кое-где занять, вот и наберется необходимая сумма. А казначей географических обществ и научных академий пусть ждут безупречных фактов о местонахождении Борнео или Камчатки. Вперед!

15 мая экспедиция достигла, наконец, поста Бакири. Мулы порядком отошали. Похоже на то, что в том месте, куда их посылали откармливать перед походом, животных морили голодом, стремясь заработать на этом несколько лишних мильрейсов. Лошади зато выглядят вполне сносно.

Все было за эти двадцать пять дней перехода: страшные муравьи саубе, которые чуть не пожрали походное снаряжение, плутание и возвращение назад, падения, ушибы, встреча с разъяренным бушмейстером¹.

¹ Смея.

Фосетту казалось, что отряд идет слишком медленно. Не в силах сдерживать нетерпение, он то и дело вырывался далеко вперед. Однажды он настолько увлекся, что вынужден был ночевать прямо на земле. В непроницаемом мраке кружились мириады светлячков. Пахло гниением, нездоровой прохладой скользкой, источенной слизняками коры. Фосетт закурил трубку и, пока догорала спичка, огляделся. Он успел заметить причудливые, как фантазии Сальватора Дали, сплетения тимбо.

Фосетт достал тесак и, нарубив тимбо, соорудил себе ложе. Сухое и не очень удобное ложе. Он заснул сразу же, глубоко и крепко, как умеют спать путешественники.

Джек и Рэли не знали, что и подумать. Где-то сонно кричали обезьяны и плакала птица жакубим, а полковника все не было. Стреляли в воздух, Фосетт не отвечал. На рассвете маленький отряд снялся с места. Искать Фосетта было бы бесполезно. Оставалось надеяться, что он найдется сам.

Встреча произошла лишь на берегу реки Смерти.

Прежде чем пересечь границу цивилизации, решили дать отдых животным. Да и у людей после тревожной ночи смыкались глаза. Зеленая трава манила свежестью и покоем. Сонно бормотала желтая река. Но стоило только людям опуститься на землю, как их сразу же облепили полчища беспощадных клещей гарапата.

Больше всех пострадал Рэли. Нога его распухла и приобрела фиолетово-жемужный оттенок, как от укуса бушмейстера. Пришлось отложить отдых до поста Бакири...

Сразу же за холмами поста Бакири начиналась совершенно неисследованная местность. Пришедшие на пост низкорослые индейцы мехинаку рассказали, что в четырех днях тяжелого пути на север живет племя махахири. «Рост их не превышает пяти футов. Они совершенно голые. У них нет даже жалких набедренных повязок — гуайюко. Берегитесь махахири! Они людоеды».

Что ж, теперь предостережение «берегись» будет звучать чаще и чаще.

На ногу Рэли страшно смотреть. Бедняга морщится от боли и почти не разговаривает. К счастью, его мрачное настроение не отражается на аппетите. Часы трапез в походе соблюдаются так же свято, как и в Лондоне. Ровно в половине седьмого утра путешественники получают традиционную овсянку и чай со гущеным молоком.

Время обеда и меню, правда, зависят от местных условий, но весь зеленый ад Шингу не сможет помешать файф-о-клоку. Ровно в половине шестого следует неизбежная чашка чаю. Два-три бисквита, сардины. Иногда маникокорые лепешки и сладкий картофель.

Ночь в Амазонии наступает сразу же. Без мучительного противоречия сумерек. Желтым огнем пылает сухой кустарник. Огонь тороплив и жаден. Он мешает сосредоточиться. Не то что мерцающие угли камина. Нужно спать.

Через три недели пути от поста Бакири Фосетт предполагал выйти к большому водопаду. Об этом водопаде ему рассказал некто Эрменежилду Гальван, который, в свою очередь, узнал о нем от индейца бакаири, по имени Роберто. Сам Роберто

тоже никогда не видел этого не известного никому водопада. Но он слышал о нем от отца, жившего в тех местах, когда ба-каири были еще дикими!

Шум низвергающейся воды можно различить за пять лиг. Радуга никогда не уходит из долины тумана и рева. Не просыхает влага на листьях и камнях. Лишь одна вертикальная, как стена, черная скала сумела укрыться от воды. Глаз сразу найдёт эту сухую скалу среди мокро блестящих камней. На ней высечены таинственные знаки, изображения людей и лошадей...

Это Роберто узнал от отца, дон Гальван от Роберто, а Фосетт от Гальвана. Фосетт оставался верным себе. Впрочем, хорошо, если сам Роберто не миф. В этом можно будет убедиться завтра, когда Роберто придет на пост Бакири.

Вот что писал в одном из последних писем Джек:

«...Пришел Роберто и, после того как мы поднесли ему *vinho de Saço*¹, рассказал нам интересные вещи. Он говорил, что считал делом чести достигнуть большого водопада с надписями и обосноваться возле него со своим племенем, но сейчас уже слишком поздно. К тому же в тех местах живут племена морсего и каксиби, а он их боится. Мы получили от него описание местности и местоположения водопада. Сначала идет безводная пустыня, которую можно пересечь из конца в конец за день пути, потом мы попадем в местность, покрытую травой, где совершенно отсутствует лес. Его дядя говорил о городах, и он утверждает, что они построены его далекими предками. Мы выступим послезавтра и через пять дней окажемся в неведомом краю...»

Итак, у Роберто, кроме отца, есть еще и дядя, который знает даже местонахождение городов. Какая необыкновенная удача! Зверь бежит прямо на ловца... Но вот что говорит об этом сам Фосетт:

«Виделся с вождем индейцев Роберто и разговаривал с ним. Вино развязало ему язык, и он подтвердил все, что сообщил мой приятель из Куябы, и даже кое-что добавил. Так и остается неясным, кто рассказывал Роберто о водопаде и городах: отец, дядя или дед; он всегда хотел отправиться к водопаду, но сейчас уже стал слишком стар...»

«Вино развязало ему язык!» А не вернее ли будет предположить, что вино заставило его рассказать именно то, что так хотелось услышать Фосетту? Чем больше было вина, тем ярче были подробности. В итоге Фосетт узнает и то, что Роберто «добавил». А добавил он некоторые уточнения к маршруту. Противоречия и несуразности мало смущали Фосетта.

«Рассчитываю войти в соприкосновение с древней цивилизацией через месяц и достичь главной цели в августе. С этой минуты всецело поручаю себя богам!»

Какой полководец на основании многократных проверенных данных мог с такой уверенностью предвидеть исход предстоящей операции! Фосетт же исправил свой маршрут после разговора с пьяным Роберто.

¹ Вино ягод кажу (португ.).

Что это было — легкомыслие, или легковерие, или ясновидение? Фосетт шел сквозь сельву, влекомый зовом оглушительным и всепокоряющим. Победный, ликующий и чуждый двусмысленности.

Последнее письмо Фосетта жене было написано 29 мая 1925 года и послано вместе с пеонами. С этого момента Фосетт, Джек и больной Рэли остались одни. Темная завеса сельвы закрылась за ними навеки.

«Я рассчитываю войти в соприкосновение с индейцами примерно через неделю или десять дней, когда появится возможность достигнуть водопада, о котором мне так много говорили.

Сейчас мы находимся в Лагере мертвой лошади, в пункте с координатами 11°43' южной широты и 54°31' западной долготы, где в 1920 году у меня пала лошадь. Теперь от нее остались лишь белые кости. Здесь можно искупаться, только насекомые заставляют проделывать это с величайшей поспешностью. Несмотря ни на что, сейчас прекрасное время года. По ночам очень холодно, по утрам свежо, насекомые и жара начинают наседать с полудня, и с этого момента до шести часов вечера мы терпим настоящее бедствие.

Тебе нечего опасаться неудачи...»

Мучительная истина мерещится мне в этой последней фразе. А дальше — только слухи и легенды, цветастые и непрочные, как мыльные пузыри.

Острым углом расходится след на желтой воде реки Смерти. Смутным шепотом достигает он болотистых берегов, и мы не можем различить этот шепот. Что же случилось там, в этой зеленой дали, опрокинутой в зеркало реки? Слышите, как тихо... Только в ушах шумит. Думаете, это шум крови? Нет... Это пробукливаются пузыри в горячих и смрадных разводах, плачут анаконды и бьются в паутине колибри. Это птица тукан чистит о ствол нежно-зеленый и лилово-розовый клюв и клокочет в горшочках кипящий кураре.

Где-то шумят города, плывут корабли, летят спутники, и кто-то пробует ногтем микрофон в зале Генеральной Ассамблеи. А здесь тишина, как тысячу лет назад. Здесь пролагают свои трудные пути энтузиасты-одиночки. Их зовет Мечта.

ЗА ЛАГЕРЕМ МЕРТВОЙ ЛОШАДИ — НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Многие пошли по следам Фосетта. И я был одним из многих.

Если вяло спадающая с ветвей змея неожиданно падает вам на шею, тело ее сразу же приобретает упругость и крепость стали. Исход встречи решают мгновения. Я научился хватать змею за горло до того, как она захлестнет в тугие кольца. Но скажи мне кто-нибудь раньше, я бы не поверил, что нападение змеи может обрадовать, как встреча с другом в безлюдной пустыне. Все-таки змеи тоже живые существа, которым нужно что-то есть и где-то спать. На Черном плато не было даже змей...

Сельва отпустила меня однажды. Зачем же я опять, как отколовшийся от надежной кладки камешек, падаю в глубокий зеленый колодец Шингу? Я искал и продолжаю искать. Как искал полковник Фосетт и все те, кто пошел по его следам...

В 1928 году Североамериканское газетное объединение послало на поиски Фосетта большую экспедицию, которую возглавил Джордж Дайотт. Покинув Куябу, экспедиция по реке Кулизеу добралась до деревни индейцев нахуква. В хижине старого вождя Алоике Дайотт нашел металлический ящик. Медный ярлык фирмы был сорван и превращен в украшение, которое сын Алоике носил на шее.

«Сильвер и К°, Лондон», — прочел Дайотт и, скрывая волнение, поспешил закурить трубку.

Алоике рассказал, что ящик ему подарил каранба (так индейцы называют всех чужеземцев; это слово означает «захватчик»), который пришел сюда с двумя другими белыми, помоложе. Оба они хромали. Алоике проводил гостей до деревни Калапало на реке Кулуэни. «Пять дней были видны дымки костров, — сказал Алоике, — потом они погасли и ветер унес пепел».

Если не считать того, что металлический ящик действительно принадлежит Фосетту (он был опознан фирмой-изготовителем), результаты экспедиции Дайотта ничтожны. Мне было совершенно непонятно, на основании каких фактов Дайотт пришел к заключению, что Фосетт убит индейцами.

В 1930 году на поиски полковника отправился молодой журналист Альберт де Винтон. Он достиг той самой деревни Калапало, где «пять дней были видны дымки костров». На этом его следы теряются.

В 1932 году мир взволновала очередная сенсация. Швейцарский траппер Стефан Раттин по возвращении из Мату-Гросу сообщил, что видел полковника Фосетта и даже разговаривал с ним. Последний якобы до сих пор находился в плену у одного из племен, живущих к северу от реки Бонфин, притока Телис-Пирис.

Вот что сообщил Раттин главному британскому консулу в Рио.

«Под вечер 16 октября 1931 года я и мои два спутника стирали белье в речке Шимари, притоке реки Игуасу, как вдруг мы заметили, что нас окружили индейцы. Я подошел к ним и спросил, могут ли они дать нам немного чичи. Мне было трудно с ними объясняться — они не знали языка гуарани, разве что несколько слов. Индейцы провели нас в свой лагерь, в котором оказалось около 250 мужчин и большое количество женщин и детей. Все сидели на корточках на земле и пили чичи. Мы сели рядом с вождем и тридцатью другими индейцами.

После захода солнца вдруг появился какой-то старик, одетый в шкуры, с длинной желто-белой бородой и длинными волосами. Я сразу увидел, что это белый. Вождь бросил на него суровый взгляд и что-то сказал своим людям. Четверо или пятеро из индейцев, сидевших с нами, поднялись и посадили старика с собой в нескольких ярдах поодаль. Он выглядел очень несчастным и не сводил с меня глаз. Мы пили всю ночь

напролет, и на рассвете, когда большинство индейцев, в том числе и вождь, крепко заснули, старик подошел ко мне и спросил, не англичанин ли я. Он сказал это по-английски. Я ответил: «Нет, я швейцарец». Тогда он спросил: «Вы друг?» Я сказал: «Да». И он продолжал: «Я английский полковник. Зайдите в английское консульство и спросите там майора Пэджита, у которого кофейная плантация в Сан-Паулу, скажите ему, что я здесь в плену». Я обещал исполнить его просьбу. Он сказал: «Вы джентльмен», — и пожал мне руку.

Старик спросил, есть ли у меня бумага, и повел в свою палатку. Несколько индейцев пошли за нами. Он показал мне четыре чурбака, на которых острым камнем были нацарапаны грубые планы. Я перерисовал их, насколько мог точно, и тут заметил, что руки старика сильно расчесаны. Тогда я послал одного из моих спутников за йодом, который мы имели с собой. Когда старик стал мазать руки йодом, индейцы забрали у него йод и принялись раскрашивать им себя.

Вождь и большая часть индейцев все еще крепко спали, и я спросил старика, находится ли он здесь один. Старик ответил что-то вроде того, что его сын опочил, и заплакал. Ни о ком другом он не упоминал, а я не посмел больше спрашивать его. Потом он показал мне золотой медальон, который носил на цепочке, надетой на шею. Внутри была фотография дамы в широкополой шляпе и двух детей (от шести до восьми лет). Старик носил четыре золотых кольца — одно с красным камнем, другое — с зеленым, на котором был выгравирован лев, еще одно — очень тонкое, с небольшим бриллиантом, и последнее — в форме змеи с двумя красными глазками. Это был человек лет шестидесяти пяти, могучего сложения, примерно пяти футов одиннадцати дюймов ростом. Глаза у него светло-голубые с желтоватым оттенком, ресницы каштановые, над правым глазом небольшой шрам. Он выглядел очень подавленным, но, похоже, сохранял полную ясность ума. Он был как будто вполне здоров, не толст и не худ.

Вскоре после восхода солнца мы вернулись к двум своим мулам и покинули лагерь. Около пятидесяти индейцев провожали нас до полудня. Я не люблю задавать вопросы, но все-таки постарался выяснить, что делает у них старик. Они твердили одно: «Пошу демас», что, по-видимому, должно означать: «Плохой человек». Шесть дней мы двигались на юг, и... я направился в Баретту через Гояс...

До Баретту я никогда не слыхал о полковнике Фосетте.

Рассказу Раттина поверили прежде всего потому, что в нем упоминалось о майоре Пэдджите, британском после в Бразилии и большом друге Фосетта. Но, как пишет младший сын Фосетта Брайн: «Я не могу согласиться, что встреченный Раттином старик и есть мой отец, хотя убежден, что, по существу, Раттин говорил правду».

Действительно, попробуем сопоставить рассказ Раттина с тем, что нам известно о Фосетте. Прежде всего — внешние приметы. Борода у полковника была мышиного цвета, а на голове волос почти не осталось, тогда как швейцарец говорит о «желто-белой» бороде и «длинных» волосах. Непонятно, почему Фосетт, если это был действительно он, разговаривал с Раттином

по-английски. Траппер ведь почти не владел этим языком. Скорее следовало бы ожидать, что беседа будет вестись на хорошо знакомом обоим португальском языке. Близкие Фосетта сомневаются также в том, что полковник носил описанные Раттином медальон и кольца. Характеризуя рост старика, Раттин говорил о пяти футах одиннадцати дюймах, тогда как полковник был намного выше шести футов. Впрочем, швейцарец мог и ошибиться. Я не разделяю общего мнения и не склонен усматривать здесь в рассказе Раттина противоречие. То же можно сказать и о слезах старика. Я согласен со всеми, кто свидетельствует, что такая манера выражать свои чувства совершенно чужда полковнику, но Раттин застал старика в таких условиях...

В общем я знаю, что в жизни возможно все. Я сам плакал бессильными и злыми слезами, когда меня засасывала золотисто-рыжая топь на реке Ферру. В другой раз я спокойно и хладнокровно готовился к смерти, провалившись в какую-то мокрую пещеру на Рораиме. Всякое бывает...

И все же я не склоняюсь к тому, что встреченный швейцарцем старик был действительно Фосетт. Нет. Просто мне хочется показать, насколько некритическим был подход многих исследователей к этой истории.

Вернемся к Раттину. Он не требовал денег, не искал гласности. Он даже не захотел принять участие в снаряжении спасательной экспедиции на общественный счет. Траппер решил вызвать старика в одиночку.

«Английский полковник потом сам отблагодарит меня», — были его последние слова.

Он исчез так же неотвратимо и глухо, как и многие другие, кого поглотила сельва.

В июне 1933 года жена Фосетта получила от секретаря Королевского географического общества теодолитную буссоль. Фирма-изготовитель опознала в ней инструмент, который был доставлен Фосетту еще в Девоншире 13 февраля 1913 года. Буссоль находилась в полированном ящичке, сделанном из дерева пашнубу — пальмы, растущей только в амазонской мангрове. Внутри лежала записка.

«Буссоль от теодолита. Найдена около стоянки индейцев бакайри в Мату-Гросу полковником Анисето Ботелью, бывшим депутатом этого штата, и отдана им инспектору по делам индейцев доктору Антонио Эстигаррибиа, который 14 апреля 1933 года подарил ее Фредерику Глассу (миссионеру). Ящик сделан доктором Эстигаррибиа».

Интереснейшая находка! Насколько известно, Фосетт до своего последнего путешествия не встречался с бакайри. Когда он расспрашивал вождя бакайри Роберто о водопаде и скале с надписями, тот сказал, что его племя живет «очень далеко на севере». Неужели полковник все-таки изменил маршрут и отправился на север? Впрочем, это так на него похоже...

Во всяком случае, лично для меня эта буссоль явилась серьезным указанием на то, что, покинув Лагерь мертвой лошади, экспедиция направилась на север. За этим следовали далеко идущие выводы. Но вернемся к фактам.

В июле 1933 года появился отчет Вирджинио Пессионе, предпринявшего экспедицию по реке Кулуэни.

...«Мы прибыли в поместье Ранчария, расположенное на левом берегу реки Сай-Мануэл, притоке Паранатинги, где остановились на ночь. Нам стало известно, что вот уже около года здесь живет некая индеанка из племени нафакуа...

Хозяева дома сообщили нам, что эта индейская женщина, выучив несколько слов по-португальски, изъявила желание рассказать о том, что в течение нескольких лет среди индейцев племени арувуду, которые находятся в дружеских отношениях с ее племенем, живут белые люди. На следующее утро мы могли сами услышать рассказ этой женщины. Она объяснялась с нами жестами, а также с помощью индейца бакайри, работавшего в поместье и говорившего по-португальски.

Еще до того, как ее сын был отнят от груди, сказала она, сверху по Кулуэни спустились на лодке к деревне ее племени трое белых людей. Один из них был старый, высокий, с голубыми глазами, бородатый и лысый, другой — юноша, бывший, насколько она сумела нам объяснить, сыном первого, третий был белый человек постарше юноши. Сыну этой женщины, который, по ее словам, еще сосал грудь в то время, на наш взгляд, было лет девять-десять. Трогая наши руки, жестикულიруя и коверкая слова, она дала понять, что у старшего из белых на правой руке было большое кольцо — очень большое — и другое, тоненькое, на указательном пальце. Тот, кого она называла его сыном, носил на голове колониальный шлем, похожий на наши. Старик — отец карайба, как она его называла, носил такую же фетровую шляпу, какая была у сеньора Бесерри (хозяина дома). Она сказала, что видела белых всякий раз, как приходила к арувуду, и что еще год назад они были живы и здоровы...

Все приметы Фосетта и его спутников поразительно сходятся. Но особенного внимания заслуживает та часть рассказа индеанки, где она говорит, что карайбы «любят ходить из деревни в деревню, собирают вокруг себя детей и рисуют на песке картинки».

Брайн по этому поводу замечает:

«Несколько деталей приведенного сообщения, несомненно, говорят в пользу того, что этими белыми могли быть мой отец, Джек и Рэли. Собирают вокруг себя детей и рисовать им на песке картинки — это ли не простейшая форма самовыражения художественных натур, какими были мой отец и брат? К тому же я хорошо помню, что Джек просто не мог пройти мимо чистой полосы песка без того, чтобы не найти веточки или щепки и что-нибудь не нацарапать. То, что они плыли на лодке, может быть объяснено гибелью всех животных и тем, что Рэли хромал».

Некоторые несоответствия в рассказе индеанки, касающиеся одежды белых и их приблизительного возраста, вряд ли следует принимать в расчет. Время и личность рассказчиков могли внести свои коррективы в эту запутанную эпопею. Следует учитывать также, что «разговор» протекал главным образом с помощью жестов.

Следующая попытка найти Фосетта была предпринята братьями Патриком и Гордоном Ульятт, которые, поднявшись вверх по притоку Мадейра реки Жамари, достигли недоступной об-

ласти реки Машадинью. Дикие индейцы бока-прета ни за что не хотели пропустить их дальше. Под угрозой луков и дротиков братья были вынуждены отдать все свое имущество, за исключением винтовок, которые пришлось повернуть, в знак мира, дулом к земле. Остается загадкой, почему бока-прета не хотели пропустить белых через свою территорию. Но, как говорится, это их суверенное право. Братья Ульятт должны благодарить судьбу, они могли заплатить за свое любопытство гораздо дороже. По свидетельству Патрика, серингейро¹ и другие обитатели лесов много могут порассказать о Фосетте, хотя и не знают точно, где он находится.

Начиная с 1935 года, наверное, каждый сезон после окончания дождей кто-нибудь отправлялся на поиски Фосетта. Возникали сомнительные сенсации, проносились слухи один нелепее другого, время от времени исчезали в сельве смельчаки, шарлатаны, идеалисты.

То и дело кто-нибудь находил скелет, высушенную голову или какой-нибудь предмет, «несомненно принадлежащий полковнику Фосетту». Одно время даже выплыл на свет некий Дулипе, белый мальчик с голубыми глазами — «сын Джека и индейки куйкуру». Я не буду говорить об этих мнимых попытках раскрыть «тайну Фосетта». Они только набрасывают на нее тень авантюризма и дешевой сенсации.

Последнее сообщение о судьбе Фосетта появилось в европейской печати в апреле 1951 года. Возможно, и вы слышали о признании умирающего вождя племени калапало, сделанном в присутствии Орlando Вильяс Боас. Орlando, как, впрочем, и два других брата Вильяс, — один из самых замечательных людей, которых мне довелось знать. Мой коллега и соотечественник Адриан Кауэлл написал о деятельности братьев Вильяс превосходную книгу («The heard of the foust». London, 1960 г.), в которой несколько страниц отведено и знаменитой «исповеди» старого Изерари. Я слышал эту историю еще в Манаусе, куда приезжал позапрошлой осенью, от самого «исповедника». Вот что рассказал мне тогда Орlando.

«Двенадцать лет назад, когда я впервые пришел сюда, все племена Шингу знали, что калапало убили трех инглези. Но мне пришлось прожить среди индейцев до нового сезона дождей, прежде чем я увидел могилу... В то время вождем был Изерари. Он рассказал мне об убийстве трех англичан и обещал привести меня к их могиле, как только пройдут дожди. Но он умер еще до того, как сельва начала высыхать, а новый вождь Якума побоялся показать мне могилу англичан. Я не настаивал и сделал вид, что забыл об этом. Но когда умер и Якума, я пошел к Коматаси, который только еще готовился стать вождем, и он показал мне могилу.

У могилы собрались все калапало. Они подошли к самому краю обрыва у озера и уселись полукругом. Я тоже сел, не решаясь прервать наступившее молчание. Прошло часа два, прежде чем Коматаси указал на небольшой холмик у самых моих ног. «Вот здесь», — сказал он. «Но эта могила слишком

¹ Сборщик каучука (б р а з и л.).

мала, — возразил я. — Инглези ведь очень рослый народ», — «Никогда — нет! — ответил Коматаси и начертил на земле римскую пятерку. Мы похоронили их, прижав колени к груди, — пояснил он. — Тут голова». Я раскопал землю и нашел череп...

Затем я попросил Орlando повторить мне рассказ старого Изерари, и он передал мне его, стараясь сохранить выражение и манеру рассказчика.

«Из этих трех караиба один был старый и двое молодых. Они несли вещи на спине, имели ружья, один хромал. Они пришли с запада, с вождем племени нахуквы и его сыном, которые привели от своей деревни к реке Кулизеу (полное совпадение с рассказом Дайотта).

В то время все калапало находились в своем рыбацьем селении к востоку от реки Кулуэни. В главной деревне остался только Кавукире с сыном. Эти двое и согласились провести англичан в рыбацье селение и показать им, как пройти дальше на восток.

Они отправились в путь на рассвете — двое нахуква, двое калапало и трое англичан. Они шли день и еще полдня, и старик англичанин стал ругать Кавукире — почему он сказал, что идти придется всего лишь от восхода солнца до полудня. Ему было под шестьдесят, а жара стояла страшная.

Позже старик, которого индейцы сочли за вожда, подстрелил утку, и Кавукире сбежал за ней. Когда он ощупывал и разглядывал утку, старик вырвал ее у него из рук, словно Кавукире собирался ее украсть. Потом они подошли к небольшой лагуне Кулуэни, и вождь англичан стал снова браниться, потому что каноэ, которое им обещал Кавукире, оказалось на другом берегу.

Тут уж Кавукире разозлился. Но услышав, как в мешках у англичан позвякивают бусы, он смолчал, решив, что получит вознаграждение, как принято у индейцев. Они дошли до деревни, и он так ничего и не получил, но снова промолчал, надеясь, что англичане будут делать подарки на следующий день при прощании.

Ночью полковник выпотрошил утку ножом и, когда сын Кавукире стал играть рукояткой ножа, грубо отстранил его руку.

На другой день на берегу маленькой лагуны попрощаться с белыми собрались все жители селения. Но никто не получил подарка.

Кавукире потребовал смерти англичан. Каяби, вождь, согласился. Он был человек осторожный и сказал, что это нужно сделать за лагуной, чтобы не увидели нахуква.

Кулуэле и еще один индеец побежали устраивать засаду, а мальчик Туэнди перевез англичан через лагуну в лодке. На том берегу была небольшая отвесная скала, и вождь англичан вскарабкался на вершину первым. Молодые тащили за ним наверх поклажу.

Добравшись до вершины, он оглянулся, чтобы посмотреть на своих людей. Из-за дерева вышел Кавукире с только что срезанной дубиной в руках. Он ударил ею старика по затылку. Старик с криком покатился вниз, затем ухватился за ствол де-

рева и стал медленно оседать. Кавукире ударил старика еще раз по правому плечу, и тело его, согнувшись пополам, рухнуло на землю.

Услышав крик, молодые англичане бросили поклажу и начали карабкаться на скалу. Из кустов тотчас же выскочили оба калапало. Они стали бить чужеземцев по шее и по голове. Трупы сбросили в воду.

Когда Кавукире, Кулуэле и другие вернулись в селение, Кая-би сказал, что трупы нужно похоронить. Он был осторожный человек и боялся, что нахуква расскажут обо всем индейцам, дружным с цивилизацио...»

Как будто бы рассказ Изерари завершает трагический круг. Дайотт сумел проследить путь Фосетта от Лагеря мертвой лошади до деревни нахуква, Орландо проследил его до роковой скалы. Но мне не верилось, что убитые дубинами калапало англичане были Фосетт и его спутники. Могло же иметь место роковое совпадение некоторых внешних примет! Слишком уж непохож был сварливый и мелочный старик на Фосетта. Совсем не похож. Правда, индейцы, чувствуя за собой вину, могли представить действительные события в более выгодном для себя свете. Собственно, так и полагали некоторые исследователи, готовые поставить на деле Фосетта точку.

Но я придерживался другого мнения. Хотя бы потому, что ко всем подобным рассказам следует подходить очень осторожно! Достаточно сказать, что в записках Брайна Фосетта та же история о роковой скале дается совсем иначе.

В его интерпретации «версии Орландо» причиной ссоры старика англичанина и Изерари явилось неблагоприятное поведение одного из молодых англичан. «Того, который не хромал». Здесь легко уловить намек на Джека.

Что ж, калапало действительно убили троих англичан, но я не верил, что это были Фосетт, Джек и Рэли. Поэтому и не удивился, когда группа экспертов Королевского антропологического института в Лондоне, исследовав с помощью самых современных методов открытые кости, пришла к выводу, что ни один из людей, похороненных на берегу озера, не является Фосеттом!

Значит, рано еще ставить точку. И можно сделать не только этот вывод: прежде всего полностью отпадает «версия Орландо», которая до крайности запутывала и без того сложное дело. И, как следствие, выпадает из рассмотрения материал, добытый Дайоттом! Вполне правомерно теперь предположить, что гости вождя Алонке тоже не имели никакого отношения к экспедиции Фосетта.

Но как быть тогда с найденным у Алонке ящиком, опознанным фирмой Сильвер и К^о?! Получается замкнутый круг. Фосетт пришел к Алонке и подарил ему ящик. Алонке отправил Фосетта в деревню калапало, после чего тот был убит и зарыт на берегу озера. Но специалисты говорят, что убитый не является Фосеттом. Кому верить?

Единственное, что приходит в такой ситуации на ум, — это возможная неувязка во времени. Поэтому необыкновенно важным для нас является свидетельство Брайна.

«Хотя металлический ящик действительно принадлежал отцу

и был опознан фирмой-изготовителем, он не может служить доказательством этого факта (имеется в виду посещение данного района Фосеттом в 1925 году), так как отец бросил его еще в 1920 году».

Теперь все становится на свои места. И мы смело можем исключить из дальнейшего рассмотрения материалы экспедиции Дайотта и «версию Орландо».

Куда же ушел Фосетт? Я думал об этом в Лондоне и в Рио, в Куябе и в Лагере мертвой лошади. Я думал об этом постоянно. Даже во сне. Нужно было решаться. Шаг за шагом мне удалось проследить и повторить путь Фосетта до Лагеря мертвой лошади. Куда идти дальше? Отброшенные варианты несколько упрощали задачу.

И еще... Состояние ноги Рэли. От этого зависело очень многое. И прежде всего дальнейший маршрут Фосетта.

Предположим, что после того, как путешественники покинули Лагерь мертвой лошади, нога Рэли не только не зажила, но разболелась еще сильнее. Такое предположение логично, если учесть всех этих клещей, мушек, пиявок, многоножек и пауков, населяющих сельву. Они могли растравить и без того саднящие язвы. Возможно также, что после нескольких дней пути от недостатка кормов пали мулы. По свидетельству самого Фосетта, даже в лагере состояние животных было далеко не блестящим. В общем, могло получиться, что Фосетту и Джеку пришлось взвалить на свои плечи и больного Рэли.

Любая инфекция в сельве может быстро привести к заражению крови. Поэтому, если здоровье Рэли ухудшилось и жизнь его оказалась под угрозой, путешественникам пришлось бы избрать кратчайший путь к границам цивилизации. Возвращаться назад прежней дорогой, имея на руках больного, вряд ли возможно.

Единственно приемлемым было бы решение добраться до реки.

В этом случае путешественники не могли миновать Маннисауа-Миссу.

Как будто бы все сходится! Путь от лагеря до Маннисауа-Миссу, наиболее короткий из возможных участков маршрута, путешественники вполне могли осилить. Возможно, именно здесь они встретили бакайри и выменяли у них лодку на единственное, чем могли пожертвовать, — научные инструменты...

Что ж, придется и мне проделать пешком путь от Лагеря мертвой лошади к реке...

Дальше положение вновь осложняется. Здесь уже все зависит от того, выздоровел Рэли или нет. Если состояние Рэли внушало опасения, тогда опять приходилось выбирать наиболее короткий путь к цивилизованному району. Такой дорогой вполне могла быть Кулуэни. Тогда почти неизбежна на месте слияния Кулуэни и Тангуру встреча с калапало. А это автоматически оживляет все ранее отброшенные варианты. В том числе и вариант об убийстве Фосетта калапало.

Но могло случиться, что после выхода из лагеря Рэли поправился. Тогда путешественники должны были следовать намеченному маршруту: Лагерь мертвой лошади — города Рапозо, Шики-Шики, Байя. Здесь количество непредвиденных

случайностей сразу же катастрофически возрастает и начинаются сплошные гадания. Например, вполне вероятно, что, натолкнувшись на морсего, Фосетт вынужден был отступить и продолжать путешествие по реке...

Возможно также, что, достигнув водопада, он наткнулся на такое важное открытие, что решил даже отказаться от попыток достичь города.

Возможно, возможно, возможно! Ничего невозможного нет.

Но что делать мне?! Куда направиться от Роковой стоянки мучительных раздумий, как я назвал свой лагерь у реки Ман-нисау-Миссу?

ШУРШАТ СУХИЕ ЛИСТЬЯ БАНАНА

Иногда меня потрясает бессмысленность и жестокость нашей жизни. В середине атомного века плохо оснащенная, немногочисленная экспедиция поглощена диким амазонским лесом. На ее поиски расходуются деньги и труд, который было бы проще, гуманнее и выгодней затратить при организации путешествий полковника Фосетта. Впрочем, кому это нужно? Кому нужен подвиг, не приносящий прибыли?

Тем не менее эти мысли не мешали мне следовать за полковником по трудному пути мечтателя-одиночки.

«В конечном итоге тебя интересуют покинутые города и таинственный серебряный вирус, а не судьба Фосетта. Исходя из этого и нужно выбирать маршрут», — говорил я себе и не испытывал уверенности, что это так.

Но выбирать маршрут было действительно необходимо. Я не мог позволить себе задерживаться на Роковой стоянке мучительных раздумий. И так уже мои румберо¹ поглядывают на меня с удивлением. Еще день-два, и они начнут относиться к нашему походу, как к пикнику, где можно пожрать и вдоволь поваляться на травке. Да и провианта осталось всего сорок фунтов тапиоковой муки, бочонок тростниковой водки качасы, двадцать пять фунтов шарке², немного масла и ящик сахара. Есть еще отличный кофе. Настоящий Red Cirele! В лучшем случае всего этого хватит на три недели. Не больше. А неизвестно, сколько времени еще нам предстоит пробыть в Шингу. Придется сократить пайки и восполнить дневной рацион за счет охоты. Благо охота здесь чудесная. Зверье совершенно непуганое.

Пока мои румберо Мануэл и Энрико будут красться за дичью, я окончательно решу, куда направиться дальше.

Ноябрь уже на носу. По самым оптимистическим подсчетам, в моем распоряжении будет еще каких-нибудь сорок дней. С декабря по конец апреля — сезон дождей. В это время Шингу превращается в вышедший из берегов ад. Впрочем, слово «ад» уже давно ничего не объясняет...

¹ Проводники (п о р т у г.).

² Сушеная говядина.

Маннисауа-Миссу! Так свистят змеи. Скользящие и переливающиеся, как быстрые струйки воды. Грაციозно покачивающиеся блестящим кольчужным телом. Как забыть эти треугольные и копьевидные головки с прекрасными бешеными глазами! На стоянках я, по обычаю гуарани, окружал лагерь кольцом сухих банановых листьев. Как бы ни был осторожен и легок пружинящий шаг ягуара, его выдаст шуршание и треск сухих банановых листьев, желтых и скорчившихся от солнца. Но змеи струятся бесшумно. Голубые ручки с прихотливым узором желтой пены, нежно-сиреневые лианы с белой мозаикой лишайника, длинные серо-зеленые побеги гевеи с завораживающим взглядом ацтекских глаз — вот что такое змеи.

Жгутом блокируйте вены над местом укуса, посыпьте ранку порохом и подожгите его, раскалите на огне мачете, не забудьте, наконец, и о сыворотке из Буатанана... Но лучше всего купите плащ из кожи анаконды. Семь лет неуловимый для человека запах царицы змей будет защищать вас от всяких ядовитых тварей.

Анаконда. Вы, конечно, видели ее в кино. Помните, как смелчак-одиночка охотится на анаконду? Добродушное чудовище пенит воду, рвется из объятия нахала — супермена, а «случайно» оказавшийся рядом кинооператор зарабатывает на каждом метре пленки двадцать долларов. Здесь все правильно. Никаких комбинированных съемок. И все-таки это обман.

С легкой руки Рольфа Бломберга на анаконду стали смотреть, как на слона, готового таскать бревна. Но спросите индейцев и серингейро, бразильских трапперов и золотомойщиков, и они вам скажут, что нет в мире ничего страшнее анаконды. Бассейны рек Парагвай, Арагуая, Токантинс и Маннисауа-Миссу — это владения анаконд. Ни за какие деньги вы не заманите туда бразильеро. В среднем только двенадцати из каждой сотни удавалось пройти по этим рекам. Остальные восемьдесят восемь исчезали. Вспомните, что писал Фосетт об анакондах и как он о них писал...

Анаконда в двадцать — двадцать пять футов не редкость. При известной сноровке ее действительно можно схватить руками за глотку и выволочь на берег. Из ее желто-зеленой или красновато-белой кожи делают плащи, изящные сумочки и туфельки для красавиц Копакабаны. Мясо ее тает во рту, как питанный нежным жиром цыпленок. Но анаконда в сорок и более футов — апокалиптическое чудовище. Уоллес нашел на Амазонке дохлую анаконду в тридцать восемь футов. Она умерла, не сумев переварить целиком проглоченного буйвола. Фосетту удалось подстрелить анаконду в шестьдесят два фута. Она могла бы проглотить слона. Такие испанские экземпляры встречаются не часто, но следы, которые змеи оставляют в болотах, бывают иной раз шириной в шесть футов. По сравнению с таким исчадием ада даже змея, подстреленная Фосеттом, будет выглядеть карликом. В Бразильской комиссии по определению государственных границ хранится череп анаконды, достигавшей восьмидесяти футов! Она была убита на реке Парагвай.

Есть вещи, которые человеку трудно пережить. Нельзя воз-

вращаться назад на круги своя! Нельзя. Страна анаконд — это далекое прошлое. Юрские гнилые болота, меловые озера, мезозойское жаркое небо. Человека тогда еще не было на земле. Природа уберегла его от этого зрелища. И потому не надо ему ходить в страну анаконд! Я ученый, я гуманный и терпимый человек, может быть даже слишком терпимый. Но я бы напалмом выжег этот питомник ужаса. Даже это не было бы слишком высокой платой за те пять минут, которые я пережил с глазу на глаз с исполинской анакондой. Я возненавидел себя за ту глубину ужаса, на который оказался способен.

Шла восьмая ночь моего путешествия по Маннисауа-Миссу. Ярко пылал костер. Где-то внизу, в прохладной темноте, бормотала река, качая надежно привязанный плот. Метались светлячки. Завернувшись в плащи из теплой и мягкой шерсти ламы, похрапывали мои румберо. Ночной ветерок изредка трогал сухие банановые листья, заставляя меня вздрагивать и оборачиваться. Костер уже один раз прогорел. На нежных, как шиншилловый мех, пепельных углях томится завернутое в ароматичные листья мясо пекари. Рядом на тихом огне печется миту-миту — большущий каштановый индюк.

Глупого миту-миту довольно легко подстрелить. Он пост, не обращая внимания на посторонние звуки. Я убил его, когда он брал самую высокую ноту, подняв к небу малиновый клев и гордо выпятив палевою, с золотым отливом грудь.

Заглядевшись на индюка, я не расслышал странного звука, похожего на тихий автомобильный гудок. Но звук этот не укрылся от Мануэла. Он вскочил и, заслонясь ладонью от костра, прислушался.

— Ты слышишь, начальник, bichus!

— Какие звери? Пума?

— Нет!

Он помотал головой. Отстегнул фляжку и выпил качасы. Глотал он крупно и жадно. Тонкими струйками водка стекала с углов его рта и сползала по запрокинутому горлу за ворот. На мокрому заросшем подбородке метался малиновый отсвет костра.

— Смотри туда! — сказал он, с хрипом выдыхая воздух.

Я глянул в темноту по направлению его руки. Сначала ничего, кроме крутящихся светляков, не было видно. Потом мне показалось, что я вижу неподвижные и немигающие рубиновые огоньки. Я зажмурился. Открыл глаза, но огоньки не исчезли.

— Вижу... кто это?

— Страшные bichus. Они сердятся. Слышишь, как стонут...

И тут я понял, что это были анаконды. Анаконды, оставившие на ночь реку, рассерженные и, вероятно, голодные.

— Разбудить Энрико? — спросил я, указывая на безмятежно храпевшего коротышку каббокло¹.

— Зачем? — Мануэл безнадежно махнул рукой, потом втянул носом воздух, повернулся ко мне и нахмурился. — Это миту-миту так пахнет?

— Да.

¹ Метис.

- Надо убрать. Запах дразнит этих чудовищ.
- Куда убрать? Бросить им?
- Не дай бог! Это еще хуже!
- Тогда сжечь?
- Жалко... Давай лучше съедем.

Браво, Мануэл! Ничего лучшего, конечно, в данной ситуации не придумаешь. Мы растолкали Энрико и разъяснили ему обстановку. Опухший от сна, он мотал головой, тер глаза и судорожно позевывал. Когда до него дошло, в чем дело, он глотнул качасы и принялся раздирать дымящееся душистое мясо.

Это был пир во время чумы.

Мы заедали мясо медом диких ос, добытым Энрико еще на прошлой стоянке. Скоро все вокруг стало липким и сладким. Ствол моего винчестера лоснился, как от обильной смазки. Пришлось убрать оружие с колен куда-нибудь подальше. Все равно оно бы не помогло...

Скоро захотелось пить. Но воды в нашем ведре для питья оказалось на самом доньшке. Спуститься за водой к реке было равносильно самоубийству. Пришлось выпить качасы, которая к пожару в глотке добавила пожар в желудке. Чтобы не думать о воде, я попытался уснуть. Энрико остался за часового.

Кости миту-миту мы сожгли.

Неожиданно для себя я перестал думать об анакондах и провалился в какие-то голубоватые чаши. Перистые тени неведомых растений убаюкивающе склонились надо мной, закачались... Мне снились какие-то тихие лунные каналы, скользящие по зеркальным водам гондолы. Проснулся я от крика Энрико.

— Вставайте!

Я вскочил на ноги.

— Перикох!¹ — послышалось из ночи. — Перикох!

— Кто ты? — спросил Мануэл на языке гуарани.

— Перикох! — донеслось из темноты.

Ночь близилась к концу. Померкли светлячки. Ушли в темные, подернутые туманом воды ночные красноглазые призраки. Где-то вдалеке хрюкал тапир, хохотали спросонья обезьяны-ревуны.

— Отвечайте, кто вы, или мы будем стрелять! — крикнул Мануэл.

— Перикох!

— Он, наверное, не знает гуарани, — высказал предположение Энрико.

— Идите к костру. Только медленно! — скомандовал Мануэл по-португальски.

— Obrigado².

Зашуршали листья. Я настороженно прислушался. Судя по шагам, человек был один.

— Стой! — распорядился Мануэл.

Мигнув Энрико, он вытащил из костра пылающую ветку и шагнул в темноту. После шелеста листьев и приглушенного говора в свете костра показались Мануэл и индеец с дротиком и духовой трубкой. Он был низкоросл, но крепко сложен. По деревянному диску на губах и характерной раскраске

¹ Здравствуйте, я желаю вам добра, надеюсь, вы мне тоже.

² Благодарю (п о р т у г.).

я узнал в нем индейца племени тхукахаме. Это племя живет на севере Шингу, в районе великого водопада Мартинс.

Индеец огляделся и после минутного колебания направился ко мне. Вынув из головы желтое перо арапа, он в знак дружбы положил его к моим ногам. Я протянул ему свою трубку. Индеец присел на корточки и деловито, будто делал это всю жизнь, набил мой вересковый бройер табаком. Покурив, он передал трубку мне. Я сделал несколько затяжек и отдал трубку Мануэлу.

— Здесь очень плохие места, — сказал индеец. — Я проведу ночь с вами.

Я кивнул.

— Как ты попал сюда? — спросил Энрико.

— Я иду в Диауарум. К миссионеру.

— Тебе нужны лекарства? — не отставал от него Энрико.

Индеец не ответил.

— Так зачем тебе нужен миссионер?

— Оставь его в покое, Энрико, — сказал я. — Какое нам дело!

— Вы ищите пропавших англичан? — спросил тхукахаме.

— Откуда ты знаешь?! — воскликнул я удивленно и, пожалуя, даже немного испуганно.

— От ваура. Ты был в гостях в их деревне на реке Ферру.

— Ах, вот оно что..

Я действительно несколько месяцев назад посетил деревню ваура — десяток свайных хижин, крытых побуревшими на солнце пальмовыми листьями. И, как всюду, расспрашивал там о полковнике Фосетте, о его спутниках. Оказывается, весть об этом невидимый индейский телеграф разнес по всему Шингу.

— Да, амиго, я ищу троих инглези, пропавших много лун назад.

— Они твои родственники?

— Нет. Но они большие люди, и мой народ интересуется их судьбой. Ты знаешь что-нибудь о них?

— Я много слышал о старом карамба и его сыновьях.

— У него был только один сын. Другой просто друг.

Индеец кивнул головой и чуть подвинулся от огня.

— Что же ты слышал о них?

— Многое. Журуна и кайяби говорят, что они попали в плен к диким племенам.

— Какие это племена?

— Мы называем их «люди, имени которых мы даже не знаем». Они живут к югу от тех мест, где живет мое племя.

— Эти люди не морсего?

— Нет. Морсего совсем дикое племя. Люди, имени которых мы даже не знаем, совсем другое племя.

— М-да... Ну ладно. Больше ты ничего не знаешь?

— Знаю еще то, что рассказывал мне отец, который узнал об этом от брата своей жены.

— Что же он тебе рассказывал?

— Это долгая история. Я хочу сперва что-нибудь поесть.

Я дал ему сушеной говядины и несколько кейжу. Он с достоинством принял еду. Спокойно и неторопливо съел все без остатка и спросил чего-нибудь выпить.

— У нас есть одна качаса. Но я дам тебе ее только после того, как ты расскажешь все, что знаешь.

Он согласно кивнул. Потом встал и бесшумно исчез в темноте, я даже не услышал, как шуршат разбросанные вокруг листья. Я был очень удивлен и подумал было, что индеец рассердился за мой отказ дать водку. Вернулся он так же внезапно и тихо. В руках у него было несколько молодых побегов капустной пальмы асаи, из которой бразильеро готовят свое излюбленное пальмито. Молча, опустившись на свое место, он начал жевать побеги. Потом накрошил табачных листьев в трубку и, подцепив крохотный уголек, закурил.

— Вот что рассказывал мне отец, слышавший эту историю от старшего брата своей первой жены, — начал он.

Я записал рассказ индейца уже потом, по памяти. Сначала я старался сохранить особенности языка рассказчика и его манеру, потом увлекся, и ткань повествования приобрела окраску, свойственную моему воображению и моему пониманию вещей. Очевидно, и линия серебряного зверя оказалась чуть-чуть усиленной и несколько более определенной, чем в неувловимом, как цвет чешуи арапаймы, рассказе индейца. Но я ничего не хочу менять. Пусть все остается, как есть. Теперь я понимаю — чем больше ушей и уст проходит быть, тем сильнее напоминает она сказку.

ЛЕГЕНДА О СТЕКЛЯННОЙ СТРАНЕ И СЕРЕБРЯНОЙ ПТИЦЕ

Там, где Маннисауа-Миссу вливается в могучую Шингу, есть небольшой водопад. Среди черных скользких камней растут самые большие орхидеи, вечно купающиеся в туманной пыли водопада. Воздух там всегда влажный и горячий, но свежий, как дыхание грозы. Мутная Маннисауа-Миссу несет к водопаду древесные стволы и зеленые острова перепутанных лианами кустарников, цветущие ветки и мертвых крокодилов, огромные листья Царицы кувшинок¹. Все это собирается у черных камней и скрепляется речным илом. Так образуется завал, и Маннисауа-Миссу ищет обходные пути в Шингу. Только в сезон дождей, когда реки выходят из берегов, Маннисауа-Миссу собирается с силами, приподнимает завал и обрушивает его в Шингу.

В один из таких обходных ручьев и затянуло однажды бальзовый плот с тремя карайба. Течение несло плот по темной воде, крутило его, не давая карайба пристать к берегу. Да и берегов-то не было. Ручей рассекал огромное зловонное болото. Вокруг по течению неслись змеи, подняв над водой головы, и крокодилы, и черепахи, и большие броненосцы качикамо. Но никого из них нельзя было поймать, так быстро несло плот. Только змеи иногда сами залезали на бальзу погреться на солнце. Но карайба не радовались змеям и не хотели брать их себе в пищу. Они сбрасывали их обратно в воду, и змеи плыли дальше.

¹ Виктория-регия.

А еды у караиба было мало. Не осталось у них даже тростника, который можно пожевать, когда хочется сладкого. Голодными глазами смотрели они на черепах, у которых такое вкусное зеленое мясо и такие нежные маслянистые яйца. Но что они могли поделаться с течением, которое вертело плот? А может, они и не были такими голодными. Ведь у караиба, кроме farhina и мяса, есть много других сытных вещей. Наверное, караиба все же не были очень голодны. Иначе бы они ловили несущиеся рядом ветки с плодами урукури. Но они не делали этого, поскольку знали, как обманчивы эти плоды. Только на вкус они сочны и благоуханны, а в животе становятся дьяволами.

Караиба очень устали. Особенно один из них, который был болен и сильно хромал. Лучше всех держался старый караиба.

Однажды ночью, когда большое созвездие Рыбак начало клонить свой ковш к воде, течение замедлилось и плот умерил свой бег среди горячих трясин, в которых живут анаконды и кайманы.

Ручей вынес плот в большое черное озеро, и плот замер на самой середине. И караиба пришлось пустить в дело шесты, чтобы добраться до берега. Они вылезли на горячие камни, даже костра не стали разводить, и сразу же легли. Но когда человек сильно возбужден, сон бежит от него. Старый караиба следил, как срываются с неба звезды и пропадают за черными контурами гор. Слабый ветер гнал по небу облака. По тому, как гасли и вновь зажигались звезды, караиба понял, что ветер летит к далеким Андам.

Он уже собирался закрыть глаза, когда заметил далеко впереди какое-то сияние. И как ни устал караиба за день, он заставил себя встать и пойти на это сияние. Его спутники тоже поднялись и пошли вслед. Долго шли они по гремящим острым камням.

Но идти становилось все труднее. К тому же один из караиба хромал и часто останавливался передохнуть. Чтобы подбодрить себя, он жевал листья гуарани, но, наконец, и это перестало ему помогать. Тогда они решили лечь спать, с тем чтобы рано утром отправиться дальше. Но утро выдалось настолько жаркое, что им пришлось весь день провести в тени. Только к вечеру они могли продолжить путь. Вокруг были черные камни, да из мертвой воды черных озер к небу тянулись выбеленные на солнце корни деревьев. Вода в озерах была гладкой, как обсидаан. Лишь изредка по ней разбегались круги. Это всплывали глотнуть воздуха живущие на дне слепые рыбы.

Уже ночью путники пришли к высокой скале, усеянной холодными фиолетовыми огнями. Такие огни порой загораются на макушках высоких деревьев или на головах священных тотемов. Но никто еще не видел их на скалах. На этой же одинокой скале они появлялись каждую ночь. У старого караиба был прибор, отыскивающий дорогу. Около скалы прибор перестал подчиняться. Он крутился, как ягуар, отведавший игл дикобраза. Но старый караиба не огорчался. Он веселился как ребенок. Он умел отыскать дорогу по звездам не хуже любого индейца.

Но неизвестно, в какую сторону пошли бы караиба от той скалы, если бы не слышали далекий гул. Он напоминал гнев

огненных гор, которые перед тем, как излить жидкий огонь, выбрасывают в воздух тяжелые камни и пепел. Услышав гул, старый карамба заволновался и сказал, что нужно идти прямо на звук. И они пошли на север от башни, взяв только чуть к востоку.

На шестой день они вышли к бурной реке среди скал. Старый карамба опять обрадовался и сказал, что все правильно: река несется к большому водопаду, возле которого есть скала, расписанная богами сельвы. Он был очень решительный человек и распорядился вязать плот из деревьев, которые росли вдоль берега. Но плот у них не получился. Может быть, они не знали, как его делать, или деревья оказались неподходящими.

Не всякое дерево годится для плота. Лучше всего бальза, но хорош и тростник.

Карамба решили выжечь хороший челнок.

Десять дней они трудились над челноком, пока не сделали его пригодным к плаванию по быстрой реке. Столкнув челнок на воду, они пустились в путь, стараясь держаться ближе к берегу, чтобы, когда покажется водопад, побыстрее пристать и высадиться.

Но все случилось не так, как они хотели. Течение сразу же подхватило их и понесло. Челнок крутило в воронках, бросало от берега к берегу. На одном из порогов он перевернулся, и люди оказались в воде. Все их имущество сразу же пошло ко дну. Только сын старого карамба успел подхватить свой винчестер. Доплыть до берега было невозможно. Все силы уносили только на то, чтобы удержаться на поверхности.

Старый карамба ошибся. Река текла не к большому водопаду. Она уходила под землю. Вода, завывая, врывалась в каменную пещеру, уходя все глубже и глубже. Оказавшись в темноте, карамба потеряли друг друга, и никто не знает, как дальше сложилась их судьба. Отец говорил мне только о сыне старого вождя белых, которого река вынесла на солнечный свет. Об остальных он ничего не говорил.

Может быть, они погибли, а может, он просто не знал, что с ними случилось потом. А молодого карамба вода все же вынесла и выбросила на берег, заросший блестящей свежей травой, которая никогда не желтеет и не засыхает. Человек был без сознания.

Потом он пришел в себя и долго не понимал, как здесь оказался. Но, что-то вспомнив, вскочил на ноги и побежал искать отца. Он так и не выпустил из рук винчестер.

Сколько он ни кричал, никто не откликнулся. Тогда он побрел от реки прочь, не зная, куда идет и что будет делать дальше.

Внезапно волосы у него на голове зашевелились и стали дыбом, как в грозу на Великой реке. Он провел по ним рукой и услышал, как затрещали сухие искры. В нескольких десятках шагов от него был обрыв. Черная пропасть уходила в белесую клокочущую мглу. Подойти к обрыву оказалось невозможно. Перед ним была стеклянная преграда. Такое бывает только во сне, и человек попытался шагнуть вперед, но тугой воздух отбросил его от стеклянной стены. Молодой карамба схватил винчестер и с размаху ударил прикладом невидимую стену. Та же неведомая сила вырвала у него оружие и швыр-



нула далеко в сторону. Когда он наклонился, чтобы поднять винчестер, то увидел, что часть приклада как будто обрублена тяжелым и очень острым мачете.

Наверное, он бы умер у стеклянной стены от голода и отчаяния, если бы его не нашли люди. Это было племя, которое когда-то владело всей нашей землей. Оно построило большие города и проложило в горах дороги. Возвело пирамиды и отрыло глубокие бассейны для воды. Даже в самом сердце сельвы эти люди выжгли растительность, чтобы построить Храм солнца.

Но разгневались боги сельвы и послали на людей мор, который прилетел на Серебряной птице. Никакие травы не спасали от жестокой болезни, и люди покидали города и уходили куда глаза глядят. Они строили себе новые города, но Серебряная птица быстро проводывала об этом, и людям вновь приходилось оставлять только что построенные дома и уходить на новые земли. А сельва возвращалась на прежнее место. И сейчас еще

можно видеть в дебрях лесов развалины древних городов, в один день и в одну ночь оставленных жителями, которые прогневили богов.

Это большое и могучее племя почти целиком вымерло. Кого пощадил мор, те утонули в болотах, погибли от укусов змей или умерли от лихорадки. Лишь одиночки смогли дойти до благодатной страны, где трава не вянет даже в самые жаркие месяцы. Чтобы защитить себя от крылатого Серебряного зверя, они окружили свою землю стеклянной преградой, через которую не может пройти человек, проползти змея, перелететь птица. Только несколько тайных ходов соединяли теперь их новую родину с остальным миром. Но знал о них лишь вождь племени фетицейро¹. Тех, кто проникнет в тайну секретных ходов, ожидала жестокая смерть. Их бросали в озеро, где кишели пираньи, которые за минуту обгладывали человека до костей. А в сезон дождей, когда пираньи мечут икру и перестают есть, преступника бросали на бачакеро. Такая смерть еще более мучительна, потому что муравьи съедают человека не так быстро, как рыбы.

Уже сотни лет живет племя за стеклянной стеной. Оно не строит больших каменных городов и живет в простых хижинах, крытых пальмовым листом. Вот эти-то люди и нашли молодого карайба, лежащего у стеклянной стены без силы в ногах и без надежды в сердце.

Два воина положили на траву свои копья, связали их лианой и устлали листьями банана. На этих носилках они отнесли



¹ Колдун, жрец (португ.).

молодого карайба в хижину старого мудрого фетицейро, который сразу же начал лечить пришельца настоями целебных трав, курениями и припарками из яда кураре.

У старого вождя была костяная доска с планом страны, окруженной стеклянными стенами. Перед каждым серьезным делом он советовался с доской. Бросал на нее кофейные зерна, отчего реки на доске набухали, как вены, и начинали течь то в одну сторону, то в другую. Он следил, куда текут реки, и выносил решения, окутанный облаками благовонного дыма. И все племя подчинялось его решению.

На этот раз старик всю ночь бросал кофейные зерна.

Наутро он объявил всей деревне, что пришелец будет жить в его хижине и станет сыном племени. Люди молча выслушали слова жреца и одобрительно подняли вверх ладони. А вождь ушел в свою хижину, чтобы придумать новому воину имя.

Так молодой карайба стал жить в деревне за стеклянной стеной. Красивейшая девушка племени, дочь вождя, по имени Адаманта Анта, стала обучать его языку и обычаям ее народа.

Мудрый колдун хорошо сделал, сохранив жизнь молодому сильному чужеземцу. Ведь он мог и повелеть бросить его пираньям... Но какая от этого была бы польза? Мужчин в деревне осталось немного. Племя хирело с каждым годом. Поэтому он сохранил юноше жизнь. Тем более что чужеземец не проник в тайну секретных ходов.

Сидя на корточках возле сосудов из высушенной тыквы и глиняных горшочков с кураре, он курил трубку и, шурясь, следил за тем, как дым улетает сквозь решетчатое перекрытие крыши. Сезон дождей уже прошел, и можно было снять часть пальмовой кровли. Он лениво прислушивался к голосу дочери и краем глаза поглядывал на чужеземца, покорно повторяющего за ней слова.

Когда Адаманта Анта смеялась, он понимал значение ее смеха и втайне радовался, что пощадил белокожего воина. Прошло всего около двух лун, а чужеземец уже понимает почти все, что ему говорят. Скоро и сам он будет говорить не хуже, чем остальные. А если он к тому же окажется и хорошим охотником, то о лучшем муже для дочери нельзя и мечтать. Вождь племени уже стар, пора позаботиться и о преемнике. С помощью же его, мудрого и всезнающего жреца, молодой сильный воин станет вождем. У него будут внуки.

Жрец не опасался, что чужеземец захочет покинуть Стеклянную страну. Даже хорошо, если он попытается сделать это поскорее. В этом ему не нужно мешать. Он сам должен убедиться, что выхода отсюда нет.

А молодой карайба вслушивался в мелодичное звучание чужих слов и следил, как тень колеблемых ветром листьев пробегает по лицу девушки, не меняя выражения крылатых, навсегда чем-то удивленных глаз.

Однажды — это было в какой-то праздник — в хижине жреца зажгли много свечей воскового дерева. Было тепло и душно. Пахло ароматичным дымом и перегретым воском. Женщины удлиннили глаза черной краской женинапо и оттенили их синим соком лианы. От гуарани и кока зрачки стали большими и блестящими. Гремел шек-шек, гулко и призывно. Вокруг свечей

кружились насекомые и сухо падали на пол, опалив крылья. Рыжий дым подымался над хижинкой и таял, не долетев до звезд. Кислый запах перебродившей юбки щипал ноздри.

Когда общее веселье достигло предела, пришелец услышал странный нарастающий звук. Он напоминал и гудение исполинского комара, и влажный шелест ночных листьев, и свист маленькой болотной гадюки. Барабан сразу же смолк, и остановились раскачивающиеся в танце разгоряченные тела.

Странная тень метнулась по стене, и все единой массой отпрянули в противоположный угол. Смыкая круги, под потолком летала большая Серебряная птица. В красноватом свете хижины ее крылья отливали алым лаком перьев макао.

Птица опускалась все ниже, и гудение ее становилось похожим на стрекот кузнечиков. Люди в углу сбились в плотную массу. На середине остались стоять только пришелец и Адаманта Анта. Птица кружила над ее головой. Расширенные от ужаса глаза девушки темнели, как две бездны. На виске трепыхалась жилка. И медленно сползала по щеке тяжелая капля пота, темнокрасная от света и тени.

Молодой караиб нагнул голову и прыгнул. Он схватил Серебряную птицу за крыло и рванул вниз. Стон удивления потонул в пронзительном женском визге. Все бросились прочь из хижины, сотрясая жерди ее стен и крыши.

Первым опомнился старый жрец. Он схватил свою дощечку и метнул на нее целую горсть зерен. Руки его дрожали, и он даже не поинтересовался исходом гадания. Он крикнул, чтобы чужеземец не выпускал из рук Серебряную птицу. Потом что-то быстро наказал дочери. Пришелец понял только, что ей приказано проводить его к одному из секретных ходов. Он должен был вынести птицу за пределы Стеклойной страны. После этого он мог идти куда угодно. Возврата назад для него не было. «Пусть он уйдет, не выпуская это из рук, и ты не касайся руки его, — сказал дочери жрец. — С этой минуты никто никогда не должен касаться его руки. Пусть он не возвращается».

Жрец подумал, что по закону в тот момент, когда чужеземец минует стеклянную границу, его следует убить. Но в хижине не было никого, кто мог бы прокрасться за чужеземцем до секретного хода и пустить в него стрелу. А медлить нельзя.

«Но он все равно был обречен, да и не найти ему дороги назад», — подумал жрец, и эта мысль успокоила его. Он велел немедленно выполнять приказание. Адаманта Анта наклонила голову и выскользнула из хижины. Пришелец пошел за ней. Серебряная птица в его руках была неподвижна и только урчала, как надутый бычий пузырь.

Когда они достигли секретного хода, была глубокая ночь. Кроны деревьев скрыли огни деревни. Только звезды светили ярко, как тысячи лет назад. И зов их был вечен и нов, будто в эту ночь они загорелись впервые.

Он позвал ее с собой, и она пошла с ним, ни разу не оглянувшись назад. Они спустились в заросшее колючим кустарником ущелье. Она пошла впереди, указывая ему путь. Он шел, стараясь не отстать от смутно белевшей в ночи накидки, сделанной из меха вампира. Они вошли в пещеру. Она, пренебрегая

запретом, положила ему на плечо руку, и долго шли они в темноте, пока их глаз не коснулось дыхание ветра. Он разжал руку, и Серебряная птица канула в ночь. Когда в воздухе замер урчащий рокошущий звук, они пошли на юг, куда указывали звезды. От старого жреца Адаманта Анта знала о тайных путях, которые ведут из Стеклоанной страны в Большой мир.

Долго шли они по безводным чапалос, обходя тростники и змеиные болота. Не глядя вниз, по одинокому бревну перебирались через горные потоки. Ночевали в пещерах и на деревьях. Собирали плоды и корни и подкрепляли силы листьями гуарани. Как-то его укусила змея, но она высосала из раны яд и приложила к ней целебные листья. И нога его не опухла. Когда на них напала пума, он отбилсЯ от нее суковатой палкой, заслонив собой прижавшуюся к дереву женщину.

Наконец по крику жакубим, которая всегда чует людей, они узнали о близости человеческого жилья. Это была небольшая каучуковая фактория, затерянная в великом лесу. Несколько домиков, в которых жили серингейро, склад, сарай — вот и все.

Серингейро жили в постоянном страхе и даже ночью не расставались с винчестерами. Много лет назад какие-то серингейро напали на деревушку племени кубен-кран-кегн и, убив несколько индейцев, продали остальных в рабство. С тех пор племя мстило сборщикам каучука и постоянно совершало набеги на факторию.

Вот почему, когда какие-то люди вышли из леса, серингейро чуть было не подстрелили их. Но, очевидно, судьба до времени берегла молодого караиба и дочь жреца.

Серингейро пили попеременно качасу, виски, баккарди и пульке, приготовленную из сока агавы. Играли в кости. Ссорились.

Только на минуту оставил молодой белый на крыльце свою подругу, чтобы выпить стаканчик доброго мак-килли, но и минуты достаточно для богов, которые никогда не спускают с человека глаз.

Когда он вышел из бара, Адаманта Анта лежала на земле... Грудь ее была окровавлена, и алые капли темнели на жухлой траве и белой древесной стружке.

Он сразу же подумал, что это дело рук какого-нибудь пьяного серингейро, но, склонившись над ней, увидел в рассеченной груди перья Серебряной птицы...

Он взял ее на руки и медленно пошел к лесу. Притихшие и напуганные серингейро видели, как он исчез в сельве.

ЧЕРНАЯ АНАКОНДА

Я слушал рассказ индейца, следил за тем, как он курит и улыбается, и щемящая тоска сдавила мне сердце. Рядом со мной сидел потомок великого народа, осколок великой и загадочной цивилизации. С каждым днем мы все дальше отходим от этого народа и от его древней культуры. Они ускользают от нас, меркнут, тают, просачиваются сквозь наши сны. С каждым человеком умирает мир. С каждым индейцем уходит на вечное дно нераскрытая тайна.

В начале XX века в Бразилии было около 230 индейских

племен, теперь их осталось 143. Только сто тысяч индейцев осталось сейчас в Бразилии! Только сто тысяч. С каждым индейцем исчезает эхо далекого мира. Уходит целый народ, погружается в волны забвения.

В поэтической легенде индейца о Стеклойной стране меня заинтересовали два момента, которые могли быть отражением действительных событий и явлений. Я хотел докопаться до источника странных звуков, которые якобы слышны в этих местах. О таких звуках писал и Фосетт, да и я не раз слышал о них от индейцев. Теперь вот ко всему прибавился еще и миф.

Особенно важным показалось мне сообщение об изменении течения Маннисауа-Миссу после образования в каменистых порогах естественной запруды. Такое придумать нельзя. Это следствие опыта, многолетних наблюдений.

Вполне правомерно предположить, что Фосетт достиг дельты реки в момент завала. Если он действительно прошел здесь, это могло быть не позднее июля — августа, то есть в период самой низкой воды, когда завал наиболее возможен. И лодку Фосетта действительно увлекло течение временного рукава реки, или он ошибочно принял разлив за устье и свернул в сторону от Шингу.

Прежде чем двигаться дальше, я должен был проверить, так ли это.

Сколько я ни расспрашивал индейца о Маннисауа-Миссу, он не смог мне толково объяснить, с какими реками она сливается в разливе. Я решил обследовать северный берег, имея в виду, что в июле — августе северные притоки более полноводны, чем южные.

Буйная зелень скрывала следы любых изменений, которые могли произойти здесь всего неделю назад. Все же, чуть ли не ползая с лупой по земле, я отыскал следы лессовых наносов и разложившиеся кучи сплава. Я проследил трассу и с удивлением обнаружил, что на всем ее протяжении нет высоких деревьев! Кругом росли исполинские цекропии и бертолеции, а в узкой извилистой полосе — только мелкий кустарник и выюн. Настоящая просека. Это могло быть одним из рукавов. Причем постоянным, а не единичным, случайным.

И я решил пойти вдоль этой безлесной полосы. На четвертый день пути прохладное зловоние и тучи комаров предупредили нас о приближении к озеру или болоту. Красноцветная почва уступила место кочковатому перегною, который упруго пружинил при каждом шаге. Лес сменился непролазным кустарником. Наши мачете не знали отдыха. К счастью, полоса кустарника оказалась неширокой, и мы вступили в море шуршащих трав. Пришлось надеть ковбойку с длинными рукавами. Саблевидные ленты с микроскопическими зубуринами на обоюдоостром лезвии нещадно резали руки. Грунт становился все более зыбким. Прежде чем сделать следующий шаг, приходилось уминать траву ногой, чтобы ступать не по топи, а по зеленовато-белому травяному настилу. Так было больше шансов не провалиться по пояс.

Но вот пошла уже откровенная трясина: затянутые коричневой дрянью ямы, окна черно-кофейной воды, поблескивающие

сквозь слой зеленой сальвинии. Впрочем, гораздо большую опасность таили в себе участки, скрытые травой. Приходилось внимательно приглядываться к каждому цветку. Цветы растений-амфибий честно предупреждали об опасности.

Шестичасовой изнурительный переход оказался напрасным. Дальше пути не было. Я возвращался назад по беловатой дорожке из травяных стеблей, чуть не плача от злости.

От наших шагов разбегались кузнечики и разлетались стрекозы. Над нашими головами проносились цапли. «Цапли, — подумал я. — Цапли. Значит, там все же есть открытая вода. Может быть, даже то самое озеро...»

Я выругался тогда длинно и витиевато. Мои проводники остановились и переглянулись. Я выругался опять, уже короче. Они пошли дальше. Легче мне не стало.

И все же я решил сделать еще одну попытку прорваться к озеру.

После суточного отдыха мы вновь пошли на приступ. Четыре дня мы одолевали эти проклятые триста ярдов, опухшие от укусов и полосатые от расчесов, и проложили дорогу к озеру. Дорогу в полном смысле слова — вымощенную жердями и скрепленную нашим потом.

Сразу же за болотом показалась узенькая кайма красноземка, обрывающегося над темневшим внизу озером. Во время паводка вода в озере, наверное, подымается вровень с берегами. Потом стремительно падает, размывая обрыв.

Вид озера навевал тоску и тревогу. Синее небо померкло. Солнечный свет раздражал. Я решил дать отдых людям и, чтобы развеяться самому, отправился побродить с винчестером вдоль береговой каймы. Но мне не везло. С сорока футов я не попал в индюка. Ядовитая улитка упала мне за шиворот, и шея тотчас вспухла. Жгло, как от горчичника. Поэтому, когда я заметил карабкающегося по стволу древесного дикобраза коэнду, первым моим побуждением было влить в него добрый заряд. Потом мне стало стыдно — я хотел сорвать досаду на неповинном существе, совершить бессмысленное убийство.

Хорошо, что я не убил коэнду. Встреча с ним помогла мне прийти в себя. Я огляделся по сторонам и поразился тому, как мало видит сердитый человек. Поистине гнев ослепляет. Все, что я увидел сейчас, точно пряталось до последней минуты.

Меня заинтересовала нависшая над обрывом, увитая ползучими лианами скала. Мне захотелось взобраться на нее и попытаться разглядеть в бинокль противоположный берег. У подножия скалы зияла черная яма. Я склонился над ней, и на меня пахло сыростью и каким-то странно влекущим запахом. Я попытался прислушаться к этому запаху, и он сразу же показался мне отвратительным. Я выпрямился и достал зажигалку. Но только я хотел поднести огонь к провалу, как оттуда неторопливо высунулась сатанинская голова...

В кошмарном бреду и то не привидится змеиная голова такой фантастической величины, абсолютно черная и сонно-равнодушная. Это был очень редкий вид черной анаконды. Ее называют «дормидера», или «сонливая», за характерное храпение, которое она обычно издает.

Но уставившаяся на меня дормидера была молчалива и неподвижна. Наверное, я казался ей муравьем. В моей руке по-прежнему была зажата горящая зажигалка.

Но шевельнуться я не мог и стоял перед страшной головой, словно загипнотизированный. А может быть, это и был гипноз.

Внезапно черное лоснящееся тело напряглось, и змея выбросилась из пещеры, как стальная рулетка из гнезда или невиданной величины торпеда из аппарата.

Чудовище молниеносно пронеслось мимо. Горящий фитилек зажигалки качнулся один только раз. Но мне этот миг казался бесконечным, как все удлинняющееся чудовище с исполинской треугольной головой.

Дормидера и на землю-то шлепнулась, как торпеда на воду, чтобы скользнуть к неведомой цели, оставляя волнистый след встревоженной травы.

Я сразу же ощутил странную пустоту и изнурительную слабость. Медленно опустился на траву, и тут только я почувствовал боль от ожога. Проклятая зажигалка!

Потом я услышал тяжелый всплеск воды, нечеловеческий крик Энрико и ничего больше не помню...

Вечером Мануэл и Энрико наотрез отказались идти со мной дальше. Оказалось, что черная анаконда плюхнулась в каких-нибудь десяти шагах от того места, где они ловили пинтадо, наживляя на крючок яйца саубе. Ужас, испытанный ими при этом, мне, к сожалению, хорошо знаком. Не успели они прийти в себя после встречи с дормидерой, как услышали далекий гул, сопровождавшийся тихим свистом и потрескиванием. Они бросились разыскивать меня, чтобы рассказать о встрече на озере и о таинственном гуле, но меня нигде не было. На выстрелы я тоже не откликался. Только через два часа они нашли меня лежащим у скалы с белым, как сухой корень, лицом...

Нет, они ни за что не пойдут дальше. Никакие уговоры не помогли. Единственное, о чем мне удалось с ними договориться, — это обещание ждать меня.

Они уйдут от озера и вернутся проторенной нами дорогой к границе кустарника. Там построят жилище и станут ждать меня до 15 ноября. Дольше они никак не могут. И так в их распоряжении окажется не больше двух недель, чтобы выйти к Шингу до начала дождей.

Простились мы рано утром. И они ушли в травы, унося с собой часть моей решительности и оптимизма, а также почти всю качасу. Откровенно говоря, было очень грустно глядеть им вслед.

„НИКТО НЕ МОЖЕТ В ЗАВТРА ЗАГЛЯНУТЬ“

В тот же вечер я услышал гул.

Так гудит ток высокого напряжения в трансформаторах. А может быть, это больше напоминало зов далеких миров.

Я слышал, как звук плыл над сельвой, опускался на черную воду, просачивался в черную дыру под скалой, но не мог понять, откуда он идет. Источник его был везде и нигде.

Казалось, что звук льется с неба, испаряется с поверхности озера, слетает с крыльев стрекодух в травах кузнечиков, тяжело оседает с черных, уходящих неведомо куда стволов. Откуда же он идет?

Только на следующий день, когда в звуковую гамму влилось шипение, я понял, откуда идет звук. И сразу же вспомнил рассказ индейца. Все правильно. И я пошел по берегу озера в обход, стараясь не потерять направления. А идти нужно было на север. И чуть на восток. Жаль, что не было лодки. Это бы здорово сократило путь.

...В тот день, когда я пересек черное плато, у меня оставалось только сорок галет и три фунта сушеной говядины. Плато походило на огромную лепешку базальта, выброшенную в незапамятные времена из раскаленных недр.

Стрелка компаса вращалась против хода часов, как механизм, заведенный раз и навсегда. В безоблачном небе поминутно вспыхивали ветвящиеся молнии. Волосы на голове шевелились. Странный электрический феномен, настоящая кольцевая ловушка молнии! Даже моноцитовые песчинки располагались на базальтовой поверхности строго ориентированными полосами. Поднявшись на высокую глыбу, я увидел, что пески сосредоточены вдоль невидимых силовых линий почти правильными concentрическими эллипсами. Точно кто-то причесал их огромными граблями. И никакой жизни. Только однажды мне попалась большая уродливая ящерница.

Я вспомнил, что у Фосетта была загадочная статуэтка. Она представляла собой человеческую фигурку, обернутую лентой с таинственными письменами. Он получил статуэтку в подарок от сэра Рейдера Хаггарта, автора широко известных приключенческих романов «Копи царя Соломона», «Дочь Монтесумы», «Прекрасная Маргарет». Хаггарт привез статуэтку из Бразилии. Это дало Фосетту некоторое право утверждать, что она найдена в одном из затерянных городов.

«Эта каменная фигурка, — писал Фосетт, — обладает странным свойством: каждый, кто возьмет ее в руки, тотчас же ощущает подобие электрического тока, устремляющегося вверх по руке, — ощущение настолько резкое, что некоторые люди спешат поскорее положить статуэтку. Причины этого явления мне неизвестны. Эксперты Британского музея не могли объяснить мне происхождение этой фигурки. «Если это не подделка, — сказали мне, — мы просто не знаем, что это такое!» Обычно подделка изготавливается для того, чтобы продать ее как антикварную вещь, но есть ли смысл подделывать вещь, ценность которой никто не в состоянии даже приблизительно определить! Я твердо уверен, что это не подделка, так как из двадцати чегырей нероглифов, высеченных на статуэтке, четырнадцать встречаются порознь на различных произведениях древней бразильской керамики...»

А не высечена ли статуэтка, привезенная Хаггартом, именно здесь? Из этого черного базальта, над которым поминутно трепещут молнии? Кто знает, возможно, неведомые нам могучие силы вызвали извержение, в процессе которого расплавленный базальт претерпел коренные изменения, приобрел какую-то особую поляризацию?

Может быть, микроструктура минерала отличается особыми свойствами... Не исключено также, что постоянно проскакивающие молнии привели к кристаллизации базальта с аномальным строением решетки. Я не силен в физике и не берусь судить.

Меня сейчас интересует не это. Гидродинамический феномен плато — вот что. Возможно, он как-то связан с электростатическими особенностями этого места... Речь идет о стене, вернее о стене водопада, а еще точнее — о стене фонтана...

Индийская легенда не обманула. Я действительно увидел стеклянную стену. Это была стена из воды, прозрачная и светлая, как стекло. Я увидел ее, как только пересек постепенно возвышающееся к горизонту плато. А голос ее я услышал еще на озере и шел на него через болота и заросли, как идут на свет маяка. И с каждым шагом он звучал все мощнее, пока, наконец, не заглушил все остальные звуки.

Плато обрывалось в бездну. Отшлифованный неистовым напором воды, обрыв сверкал, как хорошо смазанная внутренность исполинской трубы. Откуда-то из глубин трубы под огромным давлением вырывалась вода. Достигнув высоты в четверть мили, она обрушивалась назад в пропасть. Но на этом и заканчивалась аналогия с фонтаном. Непонятным образом выбрасываемая в небо струя настолько расширялась, что полностью охватывала пространство провала. Она как бы растекалась по всей его окружности, устремляясь вниз гладкой прозрачной стеной. Это была стеклянная струя, которую так часто можно встретить в европейских парках, но только со сферической поверхностью в несколько миль диаметром. Неистощенная подземная Амазонка, устремленная в небо и возвращающаяся в бездонные недра. Едва ли уместно узкому специалисту в области биохимии вирусов гадать о причинах столь грандиозного каприза природы. Вызвано ли это проявлением колоссальных электростатических сил, или же тайна «стеклянной стены» скрывается в области гидродинамики больших скоростей — объяснить не берусь. Возможно ведь и комбинация обоих факторов, сложная их взаимосвязь. Падающая вода вызывает при трении о поверхность твердого тела появление электрических диполей. Если же таким твердым телом будет обладающий особыми свойствами базальт...

В общем я не знаю объяснения этому грандиозному явлению. Буду говорить лишь о том, что видел собственными глазами, не пытаясь доискиваться до потаенных глубин. Сквозь изменчивую в своем неукротимом падении и вечной смене стену я уловил неясные контуры далеких холмов, смутные зеленые массивы леса, розоватые разрывы каньонов. За «стеклянной стеной» была территория, на которой мог бы разместиться европейский город средней величины.

Я бросил в стену камень. Он отлетел назад и чуть не угодил в меня. С одной стороны он оказался отшлифованным, как после наждачного круга. Я бросил флакон из-под одеколона. Он обратился в пыль сразу же после соприкосновения со стеной. Она была непреодолимой.

Я останусь здесь, в Шингу. Буду ходить по индийским деревням, слушать рассказы стариков, беседовать с женщинами,



охотниками, помогать им по мере знаний и сил и учиться у них. Люди не должны преждевременно уходить в небытие с нашей беспокойной планеты, не должны уносить с собой будущее внуков и прошлое дедов. Все это по праву принадлежит живым. В этом мудрость жизни.

Я всегда помнил, что, подобно Фосетту, занимаюсь делом, которое никогда не будет иметь коммерческого успеха. Но только в последнее время я стал четко осознавать, почему это происходит.

Мое одиночество предопределено сутью человеческих отношений в том мире, откуда я пришел в сельву. Даже будучи

осуществленной, моя мечта не принесла бы мне ни славы, ни денег. Я не мог ее продать на большом рынке цивилизованного общества. На нее не было покупателя. Самое большее — успех обеспечит несколько полос в научном или научно-популярном журнале. Это будет даже не сенсация, которая, впрочем, мне тоже не нужна.

Если останусь жив, обязательно приду в Капитан-Васконселос к Орландо. «Орландо! — скажу я ему. — Ты был неправ, калапало не убили Фосетта. И зачем им было убивать такого человека, как он? Хочешь, Орландо, я расскажу тебе о создателях покинутых городов и о стране за стеклянными стенами?» И я все расскажу ему. А потом я попрошу его: «Возьми меня к себе, Орландо. Я хочу помогать тебе. Они не должны умирать, и тонущая на наших глазах Атлантида не может бесследно исчезнуть в волнах».

Все это я сделаю, если останусь жив и если потом у меня хватит жизни сделать все это. Пути назад нет. Завтра я доем последние галеты. А ружьем не добудешь ничего, кроме серой ящерицы, в течение семи дней пути. Вот-вот начнутся дожди, и мои румберо уйдут без меня. Не беда!

Эти записки я вложу в полиэтиленовую канистру, которую хорошо закупорю, и брошу потом в один из низвергающихся в пропасть водопадов. Надеюсь, полиэтилен выдержит кратковременное прикосновение к стеклянной стене. Если мне повезет, вы узнаете, куда уходит вырывающаяся из земли вода. Если не повезет, вы все равно узнаете об этом от кого-нибудь другого.

Мне хочется верить, что вы прочтете эти записки. Вот почему я ничего не скажу здесь о найденном мною ходе, который, как мне кажется, ведет в «Стеклянную страну». Не удивляйтесь, что я так поступаю. И не ищите этому объяснений. Я лучше напомню вам последние слова Фосетта: «Если нам не удастся вернуться, я не хочу, чтобы из-за нас рисковали спасательные партии. Это слишком опасно. Если при всей моей опытности мы ничего не добьемся, едва ли другим посчастливится больше нас. Вот одна из причин, почему я не указываю точно, куда мы идем...»





Наша первая книга, «Страна багровых туч», вышла в 1959 году. После нее — «Шесть спичек», «Путь на Амальтею», «Возвращение», «Стажеры». В сборниках «Фантастика, 1962 год» (издательство «Молодая гвардия») и «Новая сигнальная» (издательство «Знание») напечатаны повести «Попытка к бегству», «Далекая радуга» и «Трудно быть богом».

Сейчас мы работаем над тремя фантастическими повестями сразу: о фантастических ученых, о фантастических мещанах и о фантастических событиях на фантастически незадачливой планете. Может

**А. СТРУГАЦКИЙ,
Б. СТРУГАЦКИЙ**

ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Около двух часов дня, когда в «Алдане» снова перегорел предохранитель вводного устройства, раздался телефонный звонок. Звонил заместитель директора по административно-хозяйственной части Модест Матвеевич Камноедов.

— Привалов, — сурово сказал он. — Почему вы опять не на месте?

— Как это не на месте? — обиделся я. День сегодня выдался хлопотливый, и я все позабыл.

— Вы это прекратите, — сказал Модест Матвеевич. — Вам уже пять минут назад надлежало явиться ко мне на инструктаж.

— Елки-палки, — сказал я и повесил трубку.

быть, это звучит несколько игриво, но мы надеемся, что повести получатся довольно серьезными независимо от того, веселые или печальные события в них описываются. Первая повесть называется «Понедельник начинается в субботу», вторая — «Хищные вещи века», а третья пока никак не называется.

И наши ближайшие планы — скорее закончить начатые повести. Планы дальние тоже есть, но пока говорить о них рано.

Вот несколько страничек начала одной из повестей.



А. Стругицкий

ЗА РАБОЧИМ СТОЛОМ ПИСАТЕЛЯ

Среди героев рассказа выделяются один-два главных героя, все остальные рассматриваются как второстепенные.

(«Методика преподавания литературы»)

Я выключил машину, снял халат и велел девочкам не забыть вырубить ток. В большом коридоре было пусто, за полузамерзшими окнами мела пурга. Надевая на ходу куртку, я побежал в хозяйственный отдел.

Модест Матвеевич в лоснящемся костюме величественно ждал меня в собственной приемной. За его спиной маленький гном с волосатыми ушами уныло и старательно возил пальцами по обширной ведомости.

— Вы, Привалов, как какой-нибудь этот... хам-мункулс, — произнес Модест. — Никогда вас нет на месте.

С Модестом Матвеевичем все старались поддерживать только хорошие отношения, поскольку человек он был могучий, непре-

клонный и фантастически невежественный. Поэтому я рывкнул: «Слушаюсь!» — и щелкнул каблуками.

— Все должны быть на своих местах, — продолжал Модест Матвеевич. — Всегда. У вас вот высшее образование, и очки и бороду вот отрастили, а понять такой простой теоремы не можете.

— Больше не повторится! — сказал я, выкатив глаза.

— Вы это прекратите, — сказал Модест Матвеевич, смягчаясь. Он извлек из кармана лист бумаги и некоторое время глядел в него. — Так вот, Привалов, — сказал он наконец. — Сегодня вы заступаете дежурным. Дежурство по учреждению во время праздников — занятие ответственное. Это вам не кнопки нажимать. Во-первых — противопожарная безопасность. Это первое. Не допускать самовозгорания. Следить за обеспоеченностью вверенных вам производственных площадей. И следить лично, без этих ваших фокусов с раздвиганиями и расстраиваниями. Без этих ваших дубелей. При обнаружении фактора горения немедленно звонить по телефону 01 и приступать к принятию мер. На этот случай получите сигнальную дудку для вызова авральной команды... — Он вручил мне платиновый свисток с инвентарным номером. — А также никого не пускать. Вот это список лиц, которым разрешено пользование лабораториями в ночной период, но их все равно тоже не пускать, потому что праздник. Во всем институте чтобы ни одной живой души. Демонов на входе и выходе заговорить. Понимаете обстановку? Живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить. Потому что уже был прен-цен-дент, сбежал черт и украл луну. Широко известный прен-цен-дент, даже в кино отражен. — Он значительно на меня посмотрел и вдруг спросил документы. Я повиновался. Он внимательно исследовал мой пропуск, вернул его и произнес: — Все верно. А то было у меня подозрение, что все-таки дубель. Вот так. Значит, в пятнадцать ноль-ноль в соответствии с трудовым законодательством рабочий день закончится, и все сдадут вам ключи от своих производственных помещений. После чего вы лично осмотрите территорию. В дальнейшем производите обходы каждые три часа на предмет самовозгорания. Не менее двух раз за период дежурства посетите виварий. Если надзиратель пьет чай — прекратите. Были сигналы: не чай он там пьет. В таком вот аксепте. Пост ваш в приемной у директора. На диване можете отдыхать. Завтра в шестнадцать ноль-ноль вас сменит Почкин Владимир из лаборатории товарища Ойры-Ойры. Доступно?

— Вполне, — сказал я.

— Я буду звонить вам ночью и завтра днем. Лично. Возможен контроль и со стороны товарища завкадрами.

— Вас понял, — сказал я и проглядел список.

Первым в списке значился директор института Янус Полуэктович Невструев с карандашной пометкой «два экз.». Вторым шел лично Модест Матвеевич, третьим — товарищ завкадрами гражданин Демин Кербер Псоевич. А дальше шли фамилии, которые я никогда и нигде не встречал.

— Что-нибудь недоступно? — осведомился Модест Матвеевич, ревниво за мной следивший.

— Вот тут, — сказал я веско, тыча пальцем в список, — наличествуют товарищи в количестве... м-м-м... двадцати одного экземпляра, лично мне неизвестные. Эти фамилии я хотел бы с вами лично провентилировать. — Я посмотрел ему прямо в глаза и добавил твердо: — Во избежание.

Модест Матвеевич взял список и оглядел его на расстоянии вытянутой руки.

— Все верно, — сказал он снисходительно. — Просто вы, Привалов, не в курсе. Лица, поименованные с номера четвертого по номер двадцать пятый и последний включительно, занесены в списки лиц, допущенных к ночным работам посмертно. В порядке признания их заслуг в прошлом. Теперь вам доступно?

Я слегка обалдел, потому что привыкнуть ко всему этому было все-таки очень трудно.

— Занимайте свой пост, — величественно сказал Модест Матвеевич. — Я со своей стороны и от имени администрации поздравляю вас, товарищ Привалов, с наступающим Новым годом и желаю вам в новом году соответствующих успехов как в работе, так и в личной жизни.

Я тоже пожелал ему соответствующих успехов и вышел в коридор.

Узнав вчера о том, что меня назначили дежурным, я обрадовался: я намеревался закончить один расчет для Романа Ойры-Ойры. Однако теперь я чувствовал, что дело обстоит не так просто. Перспектива провести ночь в институте представилась мне вдруг в совершенно новом свете. Я и раньше задерживался на работе допоздна, когда дежурные из экономии уже гасили четыре лампы из пяти в каждом коридоре, и приходилось пробираться к выходу мимо каких-то шарахающихся мохнатых теней. Первое время это производило на меня сильнейшее впечатление, потом я привык, а потом снова отвык, когда, возвращаясь однажды по большому коридору, услышал сзади мерное цок-цок-цок когтей по паркету и, оглянувшись, обнаружил некое фосфоресцирующее животное, бегущее явно по моим следам. Правда, когда меня сняли с карниза, выяснилось, что это была обыкновенная живая собачка одного из сотрудников. Сотрудник приходил извиняться, Ойра-Ойра прочел мне издевательскую лекцию о вреде суеверий, но какой-то осадок у меня в душе все-таки остался. Первым делом заговорю демонов, подумал я.

У входа в приемную директора мне повстречался мрачный Витька Корнеев. Он хмуро кивнул мне и хотел пройти мимо, но я поймал его за рукав.

— Ну? — сказал грубый Корнеев, останавливаясь.

— Я сегодня дежурю, — сообщил я.

— Ну и дурак, — сказал Корнеев.

— Грубый ты все-таки, Витька, — сказал я. — Не буду я с тобой больше общаться.

Витька оттянул пальцем воротник свитера и с интересом посмотрел на меня.

— А что же ты будешь? — спросил он.

— Да уж найду что, — сказал я, несколько растерявшись. Витька вдруг оживился.

— Постой-ка, — сказал он. — Ты что, в первый раз дежуришь?

— Да.

— Ага, — сказал Витька. — И как ты намерен действовать?

— Согласно инструкции, — ответил я. — Заговорю демонов и лягу спать. На предмет самовозгорания. А ты куда денешься?

— Да собирается там одна компания, — неопределенно сказал Витька. — У Верочки. А это у тебя что? — Он взял у меня список. — А, мертвые души...

— Никого не пушу, — сказал я. — Ни живых, ни мертвых.

— Правильное решение, — сказал Витька. — Архивное. Только присмотри у меня в лаборатории. Там у меня будет работать дубль.

— Чей дубль?

— Мой дубль, естественно. Кто мне своего отдаст? Я его там запер, вот возьми ключ, раз ты дежурный.

Я взял ключ.

— Слушай, Витька, часов до десяти пусть он поработает, но потом я все обесточу. В соответствии с законодательством.

— Ладно, там видно будет. Ты Эдика не видел?

— Не видел, — сказал я. — И не забывай мне баки. В десять часов я все обесточу.

— А я что, против? Обесточивай, пожалуйста. Хоть весь город.

Тут дверь приемной отворилась, и в коридор вышел Янус Полуэктович.

— Так, — произнес он, увидев нас.

Я почтительно поклонился. По лицу Януса Полуэктовича было видно, что он забыл, как меня зовут.

— Прошу, — сказал он, подавая мне ключи. — Вы ведь дежурный, если я не ошибаюсь... Кстати, — он колебался. — Я с вами не беседовал вчера?

— Да, — сказал я, — вы заходили в электронный зал.

Он покивал.

— Да-да, действительно... Мы говорили о практикантах...

— Нет, — возразил я почтительно, — не совсем так. Это насчет письма в Центракадемнаб. Про электронную приставку.

— Ах вот как, — сказал он. — Ну хорошо, желаю вам спокойного дежурства... Виктор Павлович, можно вас на минутку?

Он взял Витьку под руку и увел по коридору, а я вошел в приемную. В приемной второй Янус Полуэктович запер сейфы. Увидев меня, он сказал: «Так», — и снова принялся позвякивать ключами. Это был А-Янус, я уже немножко научился различать их. А-Янус выглядел несколько моложе, был непричетлив, всегда корректен и малоразговорчив. Рассказывали, что он много работает, и люди, знавшие его давно, утверждали, что этот посредственный администратор медленно, но верно превращается в выдающегося ученого. У-Янус, напротив, был всегда

ласков, очень внимателен и обладал странной привычкой спрашивать: «Я с вами не беседовал вчера?» Поговаривали, что он сильно сдал в последнее время, хотя и оставался ученым с мировым именем. И все-таки А-Янус и У-Янус были одним и тем же человеком. Вот это у меня никак не укладывалось в голове. Была в этом какая-то условность. Я даже подозревал, что это просто метафора.

А-Янус замкнул последний замок, вручил мне часть ключей и, холодно попрощавшись, ушел. Я уселся за стол референта, положил перед собой список и позвонил к себе в электронный зал. Никто не отозвался, видимо, девочки уже разошлись. Было четырнадцать часов тридцать минут.

В четырнадцать часов тридцать одну минуту в приемную, шумно отдуваясь и треща паркетом, ввалился знаменитый Федор Симеонович Киврин, великий маг и кудесник, заведующий отделом Линейного Счастья. Федор Симеонович славился неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче, царе Грозном, опричники тогдашнего министра государственной безопасности Малюты Скуратова с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа-дядка в деревянной бане как колдуна; при Алексее Михайловиче, царе Тишайшем, его били батогами нещадно и спалили у него на голой спине полное рукописное собрание его сочинений; при Петре Алексеевиче, царе Великом, он сначала возвысился было как знаток химии и рудного дела, но не потрафил чем-то князь-кесарю Ромодановскому, попал в каторгу на тульский оружейный завод, бежал оттуда в Индию, долго путешествовал, кусан был ядовитыми змеями и крокодилами, нечувствительно превзошел йогу, вновь вернулся в Россию в разгар пугачевщины, был обвинен как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен и сослан в Соловецк навечно. В Соловце опять имел массу неприятностей, пока не прибил к НИИЧАВО, где быстро занял пост заведующего отделом.

— Приветствую вас! — пробасил он, кладя передо мною ключи от своих лабораторий. — Б-бедняга, к-как же вы это? В-вам веселиться надо в т-такую ночь, я п-позвоню Модесту, что за г-глупости, я сам п-подежурю...

Видно было, что мысль эта только что пришла ему в голову и он страшно ею загорелся.

— Н-ну-ка, где здесь его т-телефон? Ч-черт, н-никогда не п-помню телефонов... Один-п-пятнадцать или п-пять-одиннадцать...

— Что вы, Федор Симеонович, спасибо! — вскричал я. — Не надо! Я тут как раз поработать собрался!

— Ах, п-поработать! Это д-другое дело! Эт х-хорошо, эт здорово — вы м-молодец!.. А я, ч-черт, электроники н-ни черта не знаю... Н-надо учиться, а т-то вся м-магия слова, с-старье, ф-фокусы-покусы с п-психополями, п-примитив. Д-дедовские п-приемчики...

Он тут же, не сходя с места, сотворил две большие антоновки, одну вручил мне, а от второй откусил сразу половину и принялся сочно хрустеть.

— Ч-черт, опять ч-червивое сделал... У вас как, х-хорошее? Эт хорошо... Я к в-вам, Саша, п-попозже еще загляну, а то я н-не совсем понимаю все-таки систему к-команд... В-водки только выпью и з-зайду... Д-двадцать д-девятая к-команда у вас там в м-машине... Т-то ли машина врет, то ли я н-не понимаю... Д-детективчик вам п-принесу, Г-гарднера. В-вы ведь читаете по-аглички? Х-хорошо шельма пишет, з-здорово! П-перри Мейсон у него там, з-зверюга-адвокат, з-знаете?.. А п-потом еще что-нибудь д-дам, с-сайнс-фикшн к-какую-нибудь...

Он подошел к окну и сказал восхищенно:

— П-пурга, черт возьми, л-люблю!..

Вошел, кутаясь в норковую шубу, тонкий и изящный Кристо-баль Хозевич Хунта. Федор Симеонович обернулся.

— А, К-кросто! — воскликнул он. — П-полюбуйся, Камноедов этот, д-дурак, засадил м-молодого п-парня дежурить н-на Новый год. Д-давай отпустим его, вдвоем останемся, в-вспомянем старину, выпьем, а? Ч-что он тут будет мучаться?.. Ему п-плясать надо, с д-девушками...

Хунта положил на стол ключи и сказал небрежно:

— Общение с девушками доставляет удовольствие лишь в тех случаях, когда достигается через преодоление препятствий.

— Н-ну еще бы! — загремел Федор Симеонович. — М-много крови, много п-песней за п-преlestных льется дам... К-как это там у вас?.. Только тот д-достигнет цели, кто не знает с-слова страх...

— Именно, — сказал Хунта. — И потом — я не терплю благотворительности.

— Б-благотворительности он не терпит! А кто у меня выпро-сил Адихмантьева? П-переманил, п-понимаешь, такого лаборан-та... Ставь теперь б-бутылку шампанского, н-не меньше... С-слушай, не надо шампанского! Амонтильядо! У т-тебя еще осталось от т-толедских запасов?

— Нас ждут, Теодор, — напомнил Хунта.

— Д-да, верно... Надо еще г-галстук найти... и валенки, такси же не д-достанешь... Мы пошли, Саша, н-не скучайте тут.

— В новогоднюю ночь в институте дежурные не скучают, — негромко сказал Хунта. — Особенно новички.

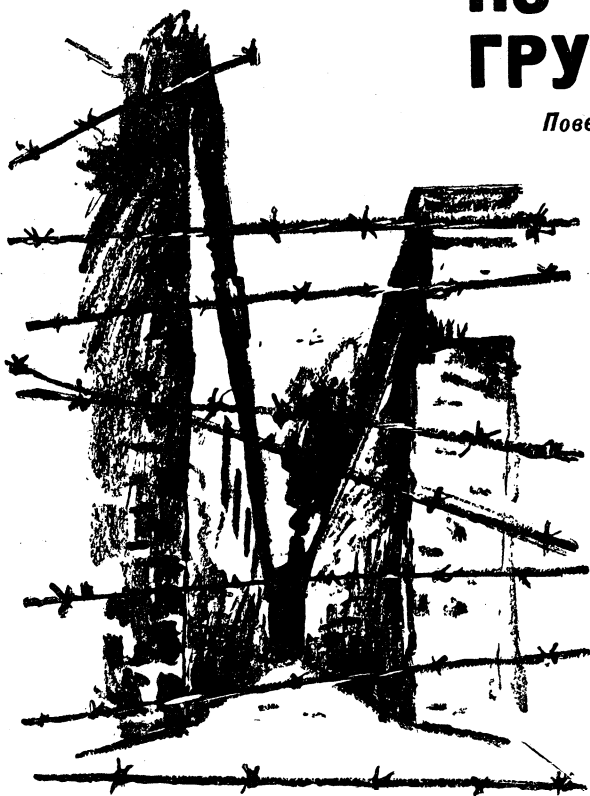
Они пошли к двери. Хунта пропустил Федора Симеоновича вперед и, прежде чем выйти, косо глянул на меня и стремитель-но вывел пальцем на стене Соломонову звезду. Звезда вспыхну-ла и стала медленно тускнеть, как след пучка электронов на экране шлейфного осциллографа. Я трижды плюнул через левое плечо.



Н. КОРОТЕЕВ

КОГДА В БЕДЕ ПО ГРУДЬ

Повесть



Рисунки С. ПРУСОВА

— Возвращаемся в лагерь, — скомандовал Гусев, — спохватиться могут.

Почему-то решили обратно ползти не просто повернувшись, а в том же порядке, в каком двигались к выходу из коллектора. И каждому, чтобы развернуться, довелось

Окончание. Начало см. «Искатель» № 5.

подползти к самой решетке, даже тронуть ее рукой, посмотреть сквозь и увидеть берег Вислы — глинистый, — почувствовать запах большой воды, услышать, как она поплескивает. И дальше за водной рябью поднимался другой, совсем уже вольный берег. У берега вставал ракитник, в котором хорошо можно было бы укрыться.

Двигались очень быстро. Необходимо было вернуться как можно скорее, пока их не хватились, не подняли тревоги. Тогда не избежать наказания. А может быть, и допроса.

Когда они проползли половину пути, вода стала прибывать. Она пахла песком и глиной. Над лагерем промчался дождь.

Воздуха стало не хватать. Люди дышали с трудом.

У последнего поворота Гусев остановил всех и велел расползаться в разные стороны. Появляться всем в одной траншее было нельзя. Это могло показаться подозрительным. Каждому следовало вернуться на свое место.

Тройка Гусева — в ней были Ситников и Мазур — выбралась в траншею, из которой ушла в побег, когда узники попрятались от дождя в земляные ниши. На их четырехчасовое отсутствие никто не обратил внимания. Тройка только первый день работала в этой команде, и никто толком не знал, куда их посылали и посылали ли куда-нибудь.

В Буне рабочие команды размещались на большой площадке строительства завода синтетического бензина, который строила «Фарбениндустри». Трубопроводы этого гигантского сооружения тянулись в разных направлениях, перекрещивались на различных глубинах. Каждую такую траншею вел свой мастер со своей командой. Заключенные мерли как мухи. Мастера далеко не всегда могли знать в лицо своих подчиненных.

Выбравшись из норы в траншею, Гусев принялся громко ругаться, расшвыривая кучу лопат и отыскивая свою. Один за другим в перебранку вступили Мазур и Ситников.

— Пять минут назад оставил тут лопату! — сердился Гусев, — Где она? Куда запихали?

Мазур принялся разыскивать лом, Ситников кирку. Они подняли такой шум, что на них прикрикнули. Для порядка. Тогда они успокоились.

Молчал только форарбайтер, старший рабочий в команде, Йозеф. Он-то знал, куда несколько часов назад исчезли трое русских. Когда он увидел их, вылезших из норы, его лицо стало серее дождливого неба. Он принялся ругаться, что сегодня все лентяйничают и не выполняют дневной нормы. Дождь лил как из ведра. Изредка в тучах проблескивали молнии. В свете их сверкали капли, и снова окружающее погружалось в сумеречную серость ливня.

Пристроившись рядом с Гусевым, Мазур со злостью налегал на лопату, отколупывал кусок мокрой и липкой, словно тесто, земли, выбрасывал ее из траншеи, но водяной поток с неба тут же размывал почву и она стекала обратно. Мазур думал о том, что если бы они убежали, то дождь был бы как нельзя кстати.

Дождь кончился неожиданно, просто ветер сдернул с неба полог туч, и засияло солнце. Крутом стало так ярко, что ломило глаза от сверканья зелени в округе. Еще мертвая машина завода выглядела черной и блестящей. И в этой радости лучезарного дня на земле потонули сторожевые вышки, загородка из колючей проволоки. Будто потоки весеннего дождя смыли эту нечисть.

Потом солнце, словно быстро устав от своей щедрости, порозовело и стало закатываться.

Мимо траншей, в которой копали землю Мазур и Гусев, прошел вольнонаемный поляк, неся на плече бензорезку. Мазур судорожно глотнул ртом воздух и привалился грудью к стенке траншеи.

— Саша! — прошипел он. — Посмотри!

— Что? — нехотя разогнулся Гусев. Его руки дрожали на черенке лопаты, и сам он подрагивал, будто от озноба.

— Бензорезка!

— Бензорезка...

— Организовать ее надо! И снова бежать. Порежем решетку.

— Эх, какие же мы дураки! — выдохнул Гусев.

— Но ведь нам же сказали, что видели открытый сток, — недовольно проворчал Мазур. — Поэтому и поперли без разведки. Да и времени не было.

Они разговаривали и не отрывали глаз от здорового вольнонаемного парня, который тащил на плече бензорезку. Она весила килограммов пятьдесят. Такую штуку пришлось бы впятером волоочь. Да хоть бы и вдесятером!

— Доверяй, да проверяй, — сказал Гусев, провожая парня взглядом. — Не ты виноват — все. Поторопились. Раньше я таких штук здесь не видел. Их немного.

— Надо в команду сварщиков перевестись.

— Дело. Но организовать аппарат все равно нелегко.

— Но надо.

— Попробуем тебя перевести в команду сварщиков. Поговору сегодня. Надо же нам так напороться! Решили, что наши сторожа просчитались. Нет. Они, гады, все предусматривают.

— Так уж и все? — улыбнулся Мазур.

— Я про наши души не говорю.

— Выберемся, Саша!

Послышалась команда. Узники построились.

Аппель ввиду хорошей погоды был короток. До отбоя оставалось много времени. Мазур побрел в том направлении, куда днем двигался вольнонаемный с бензорезкой, и вышел к пожарному сараю. Капо пожарной команды гонял заключенных-пожарников, отрабатывая действия на быстроту.

Выкаченная из сарая машина стояла тут же. Красная, тупорылая, она напоминала броневик. Мазур бочком-бочком подбирался к двери гаража, чтобы разглядеть там бензорезку. В пожарном сарае был образцовый порядок. Пожарные принадлежности находились строго на своих местах.

Бензорезка — в дальнем углу.

Мазур старался догадаться, зачем ее таскали сегодня по

территории. Потом решил, что лучше всего осторожно узнать это у капо. Тем более что капо пожарной команды был украинцем. Попав в плен при неудачном наступлении на Барвенковском выступе, он перешел в бандеровские части, но чем-то провинился перед хозяевами, и его отправили в Освенцим.

Когда занятия пожарников окончились, Мазур соорудил рожу доходяги и обратился к капо по-украински.

Тот охотно заговорил с Мазуром, но сразу предупредил, что нищих он терпеть не может. Пересыпая свою речь матюками, он посоветовал Мазуру не тянуть долго и добровольно отправиться на люфт. Довольный своей остроумностью, капо долго и старательно смеялся.

Пропустив мимо ушей шутку капо, Мазур заметил:

— Сильная машина, — и кивнул на пожарный автомобиль, похожий на броневи́к.

Капо ухмыльнулся. Он был нетороплив и коренаст. Мазур подумал, что капо раза в три толще его.

Капо выкрикнул номер.

Узник подбежал и замер перед ним навывтяжку.

Капо расстегнул верхнюю пуговицу куртки узника. У голого тела на гайтане висел маленький мешочек.

— Развяжи! — приказал капо.

— Господин капо...

— Развязывай!

Пальцы узника дрожали. Он никак не мог справиться с узлом.

— Ну!

Наконец мешочек был развязан. Узник вынул из него обмусоленный сухарик величиной с ноготь большого пальца.

— Раскусывай пополам! — приказал капо.

Сглотнув слюну, узник раскусил сухарик надвое.

— Давай сюда! По-братски надо делиться! — рассмеялся капо. — По-братски! На! — и капо протянул огрызок сухаря Мазуру. — Бери, дура!

Мазур схватил сухарик и запрятал его в карман, решив до конца сыграть роль доходяги, который ни за что не станет есть подачку тут же, а уйдет в укромное место и будет лакомиться вдосталь.

— Марш! — рявкнул капо узнику, а потом спросил Мазура: — Хорошая машина, говоришь?

— Сильная.

— Такая браму расшибет в щепки.

— Такая расшибет, — согласился Мазур. — Сильная машина, что броневи́к.

— Целый танк. Газанул — враз из лагеря вынесет.

Занятый мыслями о бензорезке, Мазур отвечал машинально:

— Пожалуй.

— Водить-то умеешь?

— Умею.

— Ловкий, я гляжу, — капо сплюнул. — Может, в мою команду хошь? А? У меня работенка-то полегче.

— Разве можно это сделать? — Мазур почувствовал подвох в вопросе, но в это время ему пришла в голову мысль о том, что бензорезку можно попробовать организовать. Стоит она в дальнем углу, заставлена всякими пожарными инструментами, а пока ее хватятся, нападут на верный след, беглецы будут далеко.

Капо прищурил глаз:

— Говорят, что можно. А?

— Может, и можно.

— Да ты подумай.

Голос капо звучал настойчиво.

«Надо кончать разговор», — решил Мазур.

— Ну, пошукай. Может, друзья какие есть.

— Нет.

— Глядя на тебя, можно сказать, годик здесь околачиваешься. Неужто дружков не завел?

— Спасибо за угощение, господин капо.

— Да ты подожди.

— Идти надо.

— Куда спешишь?

— Спасибо за угощение. — Мазур стал пятиться и, пробормотав на прощанье еще раз слова благодарности, ушел. Он направился к барaku, где жили пожарники, и разыскал того узника, у которого капо отобрал кусочек сухаря.

Вытащив из кармана огрызок, Мазур сунул его в руку товарища:

— Возьми. Не сердись.

Номер 189567 схватил кусочек сухаря и стал судорожно развязывать шнурок мешочка.

— Шляются всякие...

— Не злись.

— А я уж подумал, что ты тоже гад, как Жила.

— Капо Жилой зовут?

— Гадюка он ползучая. Чего с ним тебе было разговаривать? Беды на свою голову ищешь?

Эсэсовец и солдат остановились у края траншеи. Офицер подозвал фюрарбайтера:

— Номер 126326!

Йозеф выкрикнул номер.

Мазур застыл на мгновение, услышав свой номер. Он увидел, как с его лопаты просыпалась подцепленная земля. Она была сухая и чуть пылила, падая обратно в траншею; желтый суглинок, который они перекапывали по несколько раз, продлевая время работы.

Потом он разогнулся и, крепко сжав руками лопату, словно она была якорем спасения, бегом направился к фюрарбайтеру, рядом с которым стояли офицер и солдат. Продолжая сжимать в ладонях лопату, Мазур громко, как полагалось, повторил свой номер.

— Брось лопату! — приказал офицер.

Тогда Мазур нагнулся и осторожно положил лопату на землю. Он произвольно делал все очень медленно, чувст-

вужа, что выигрывает последние мгновения свободы. Что же случилось, в чем его могут обвинить и насколько серьезны улики, кто предал, в каком звене конспиративной цепи произошел провал?

Он разогнулся.

В руках у офицера были наручники. Офицер повелительно дернул головой. Мазур подставил запястье. Щелкнул металл оков.

Щемящая тоска сжала сердце Мазура.

Он огляделся.

В траншее, из которой он только вылез, около нее и дальше, куда хватал глаз, суетились узники. Те, что находились в траншее, с особенным усердием копали землю, те, что работали на строительной площадке, торопливо бегали. Они словно и не заметили, как его вызвали, надели наручники и вот сию секунду поведут.

— Лос! Швайне! — ненужно крикнул солдат и ткнул в спину Мазура дулом шмайсера.

Они двинулись вдоль траншеи. И когда проходили мимо тех, кто работал, Мазур краем глаза видел: одни кидают на него взгляды, быстрые и ясные, другие осторожно косят, но тоже провожают его прощальным взглядом, и лишь немногие не могут поднять глаз, потому что слишком страшно глядеть на человека, уже приговоренного к мукам и смерти.

Потом они направились к зданию комендатуры. Офицер шел первым, за ним Мазур, а позади солдат.

И по мере того как они удалялись от траншеи, где Мазур был арестован, он все четче и яснее осознавал, что теперь с каждым шагом не только отходит от своих товарищей, но и физически становится более и более одиноким. С момента ареста он не просто отделен от остальных, кто мог бы поддерживать его словом или взглядом, он остался одиноким сам перед собой, перед своей совестью и душой.

Мазур поднялся на крыльцо и прошел в канцелярию. Он долго вытирал о скобу свои деревянные колодки. Солдат, шедший позади, не торопил его. Потом не спеша — со стороны могло показаться, что он спокоен, — Мазур поднялся на крыльцо, снова оглядел свои колодки и подумал; они еще все-таки довольно грязны и он мог бы еще несколько мгновений вытирать их.

В канцелярии перед офицером стоял навывтяжку Жила.

Если в эту секунду Мазур мог почувствовать в себе что-либо помимо противной дрожи, которая бесила его тело, то это было ощущение радости. Он понял — все, о чем его станут спрашивать, пытая, не связано с деятельностью их подпольной организации. Если он поплатится жизнью, то лишь за свой неосторожный разговор с капо пожарной команды Жилой.

Пока он очень надеялся на это.

— Этот? — спросил офицер.

— Этот, господин группенфюрер.

В комнату вошел переводчик, поляк, как видно было по винкелю.

— Кто ты?

Мазур назвал свой номер.

— Я тебя спрашиваю: кто ты?

Снова Мазур повторил свой номер. Он знал: за упоминание узником своей фамилии или имени положено путешествие на люфт.

— Идиот! Я разрешаю тебе назвать себя. Понял?

Офицер сидел на стуле прямо, словно проглотил палку.

Мазур подумал, что такой торопиться не станет и не начнет допроса с побоев, потому как знает — удивить узника, пробывшего год в Освенциме, побоями нельзя. Не вызывало у Мазура сомнений и другое: прежде чем вызвать его в канцелярию, группенфюрер уж непременно познакомился с его формуляром, в котором задним числом внесены необходимые исправления.

— Ну, кто ты?

— Николай Темнохуд, — сказал Мазур.

— Офицер?

— Рядовой.

Переводчик говорил достаточно быстро, но Мазур понимал сказанное офицером раньше и у него было время обдумывать ответы.

— Где родился?

— Под Курском.

— Пехотинец?

— Пехотинец. Сапер.

— В каком году родилась твоя мать?

— В тысяча восемьсот восемьдесят восьмом, — ответил Мазур, не запнувшись, потому что заранее твердо выштудировал свою новую родословную. Его предупреждали, что при допросах гестаповцы часто задают вопросы, совсем не относящиеся к делу, наобум, и если узник терялся, путался, то у него не могло быть сомнений относительно дальнейшей судьбы. Сразу после вопросов о матери офицер стал спрашивать название села, где родился Николай Темнохуд, в каком году отбывал действительную службу в армии, когда мобилизован и в какой части служил, где попал в плен. Офицер делал вид, что многое знает, и кое-что из того, что он спрашивал, можно было проверить и уличить Мазура во лжи. Приходилось соображать быстро и давать ответы наверняка.

Жила, слушавший ответы внимательно, почтительно шелкнул каблуками:

— Врет он все, господин группенфюрер. Офицер он. Имел большие награды. Это точно, господин группенфюрер.

Мазур, не отводивший глаз от вперившегося в него взглядом офицера, внутренне поджался, словно от удара.

Переводчик сказал эсэсовцу:

— Капо говорит, что Темнохуд — офицер. Имел большие огороды.

«Может быть, это случайная ошибка в переводе? — подумал Мазур. — Поляк не понял, о чем идет речь? Или он сознательно искажил смысл сказанного? Надо внимательнее вслушиваться в перевод».

— Что за чушь несет этот капо? — удивился офицер. — Кто у большевиков мог иметь большие огороды? Офицеры большей частью коммунисты. Коммунисты не могли иметь плантаций.

Переводчик сказал капо:

— Господин группенфюрер говорит, что Темнохуд не офицер.

Жила принялся объяснять свою правоту, но переводчик каждый довод предателя подавал офицеру-эсэсовцу так, что слова вроде бы были и те, но смысл исчезал.

Теперь Мазур не сомневался, что переводчик делает это не случайно. Он по мере своих сил выгораживает Мазура. Мазуру хотелось хоть взглядом отблагодарить переводчика, но и помышлять о таком невозможно: это было равносильно предательству. Группенфюрер по-прежнему не спускал с жертвы тяжелого, равнодушного взгляда, в котором затаилась своеобразная охотничья страсть. Мазур был для эсэсовца очередной дичью. Ее предстояло вымотать и истребить.

Жила упрямо стоял на своем.

— Офицер он, господин группенфюрер.

Упрямство капо, видимо, надоело эсэсовцу:

— Пусть капо заткнется. Я сумею проверить, офицер он или нет. У меня есть способ это проверить, — и обратился к Мазуру: — Сколько времени стоит на часах русский солдат?

Подождав, когда переводчик сообщит ему вопрос, Мазур ответил:

— Четыре часа, господин группенфюрер.

— А офицеры?

— Они, как правило, не несут караульной службы.

— С кем ты хотел бежать из лагеря на пожарной машине?

— Я не сумасшедший, чтобы думать о побеге. Я знаю, что из лагеря за все время его существования не удался ни один побег, господин группенфюрер.

Мазур явно льстил. Он хорошо знал, что года полтора назад из Освенцима бежало двое поляков. Побег удался. Он знал даже о том, что в лондонской «Таймс» появилась заметка о зверствах нацистов в лагере смерти. Гитлеровцам, которые очень пеклись о сохранении тайны Освенцима, это весьма не понравилось. Охрана была усилена, возведены новые полосы препятствий вокруг.

— Вот как! — эсэсовец изобразил на своем лице удивление.

Жила покраснел от напряжения и свирепо сжал кулаки:

— Хочет! Хочет убежать, поэтому и о пожарной машине расспрашивал. Она что танк, говорил. Одним ударом браму разнесет.

— Гадина! Сам мне это говорил, а потом на меня валишь!

Мазур понял — его словесная перепалка с офицером кончилась. Теперь эсэсовец с секунды на секунду прикажет Жиле выбить у него признание.

— О! Зо! Он кричит?

Переводчик передал слова Мазура офицеру.

— Пусть капо заставит эту свинью вспомнить разговор, — сказал эсэсовец.

В какую-то долю времени Мазур надеялся, что переводчик сумеет сказать эту фразу Жиле так, что тот не поймет ее смысл, но это было надеждой на несбыточное чудо.

Жила подошел к Мазуру вплотную. Стреб его за грудки. Ударил в ухо. Мазур осел. Он хотел упасть, но Жила удержал его на весу и опять ударил в ухо.

Мазуру очень хотелось упасть, но он не мог. А упасть просто было необходимо. Тогда Жила стал бы бить лежащего. Голове не так доставалось. И еще Мазур боялся, что Жила начнет бить в живот.

Офицер что-то сказал.

Жила отпустил Мазура. Тот мягко опустился на пол. Согнулся, прикрывая живот.

— Встать!

Цепляясь за стену, Мазур поднялся.

— С кем хотел бежать?

— Нет, господин группенфюрер, — Мазур помотал головой и чуть не упал. Все поплыло перед глазами, подкатывала тошнота. Так бывало всегда, когда били по голове.

— С кем?

— Капо сам подговаривал. Дал кусочек сухаря...

— Чего бормочет этот брюквенный мешок?

Переводчик сказал, что заключенный настаивает: капо сам заговорил о побеге и дал ему кусочек сухаря.

— Ерунда, — сказал офицер. — Скажите капо — этот брюквенный мешок хочет, чтобы они поменялись местами. И еще — капо плохо работает. Пусть покажет свое умение.

Когда Жила снова приступился к нему, Мазуру все-таки удалось упасть на пол и прикрыть живот. И, как это ни трудно было сделать, Мазур заставил себя расслабить напрягшиеся под ударами сапог мышцы, зная, что иначе Жила может переломать кости.

Потом он потерял сознание, и мышцы расслабились уже сами по себе.

Мазур очнулся на улице, у крыльца канцелярии. Поляк-переводчик старательно поливал его водой. Мазур пошевелился, увидел блестящие сапоги офицера, стоящего на крыльце.

— Штей ауф!

Приподнявшись на четвереньки, Мазур покачался, собрался с силами, встал, чувствуя, что его мотаает из стороны в сторону.

— Ты солдат!

— Так точно, господин группенфюрер...

— Проверим. В загон. До утра.

«Конец... Не выстою...» — как-то отрешенно, будто не о себе, подумал Мазур.

На крыльцо вышел еще офицер. Тот, который приказал поставить Мазура в загон до утра, спросил:

— Как ты думаешь, сколько времени этот брюквенный мешок простит в загоне?

— Три часа.

— Я думаю — шесть.

— Эрих, ты неисправимый оптимист. Его ветром качает.

— Тем лучше, — Эрих подозвал солдата и приказал отвести узника в загон.

Загон — небольшая клетка — помещался рядом с забором из колючей проволоки, через который пущен ток высокого напряжения. Обреченного ставили в эту клетку, запирали дверь и подсоединяли клетку к сети. Узник стоял в загоне определенное время. Если он не выдерживал, падал, то какой-либо частью тела дотрагивался до проводов и погибал.

Широко расставляя ноги, Мазур двинулся к загону под конвоем солдата. Все усилия Мазура были направлены на одно — не шататься. Уставшее от боли тело молчало. Простоять, не двигаясь, несколько часов почти навывтяжку — задача даже для здорового человека трудновыполнимая.

Они подошли к загону.

Солдат открыл дверцу, пропустил в проволочную клетку Мазура.

Мазур вошел, стал так, чтобы плечи его приходились по диагонали клетки. Он поступил таким образом из простого расчета: в этом положении его тело будет находиться на большем расстоянии от проволоки с током. И еще — став так, он видел лагерь, бараки, пока пустые, и заходящее солнце не ослепило его.

Солдат закрыл дверцу, усмехнулся:

— Прощай!

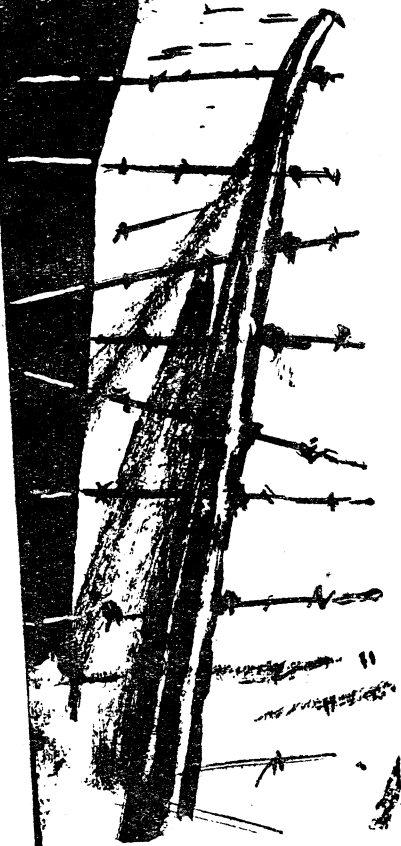
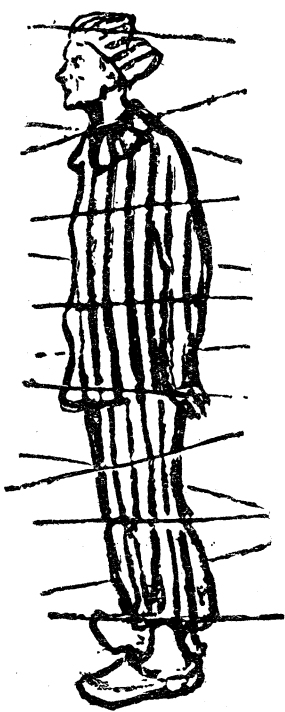
— Прощай... — отозвался Мазур и поднял стянутые в запястьях руки к лицу и старательно почесал нос, потому что через несколько минут сделать это было бы трудно: одно неосторожное движение — и можно задеть провода.

«Не выстою... — подумал Мазур. — Затекут, одереবেনеют ноги, судорогой сведет их...

Погорячился ты все-таки, Петро. Нашел с кем поговорить... Среди наших — переполох. Ждут.

Дурень. Из-за твоей жизни рисковали испанцы в бараке для слабых, врачи, когда делали операцию, Саша, когда приходил к тебе ночью, шрайбштубисты, что предупредили о селекции в кранкенбау».





Легкий посвист слышался в проводах. Сухой такой посвист.

«Ага... Включили ток. Он стекает с проводов на землю. Ночью, наверное, будут видны искры. Голубые. Они станут мелькать между проводами и уходить в землю. — Мазур говорил сам с собой, чтобы отвлечься. — В землю... Уходить в землю... Трава здесь такая густая. Так и лезет из земли. Травинка отпихивает травинку — и лезет, лезет. Не надо смотреть вниз. Голова закружится.

Как же теперь будет с побегом? Отложат приготовления, пока не станет все ясно с ним.

Все равно пустят на люфт.

Разве СД выпустит... Разве оно отпускало хоть раз свою жертву?

Вон идут наши с работы. Им хорошо видно меня. Сказать бы им, что все в порядке. Чтобы они не беспокоились. Ни за себя, ни за меня».

Мазур неторопливо переступал с ноги на ногу. Широкие штанины скрывали его движения. Он будто прогуливался, с таким расчетом, что пока тяжесть тела переваливалась на одну, другая нога отдыхала. Он сосчитал: до утра десять часов — тридцать шесть тысяч секунд. В секунду он делал по шагу. Тридцать шесть тысяч шагов — всего-то немногим больше двадцати километров.

Так он подумал, пройдя три тысячи шагов.

На двадцатой тысяче он воспринимал свет прожекторов и сияние проволоки под высоким напряжением как бред, как видения потустороннего мира. Только счет, счет, выговаривание цифры за цифрой — ритм не давал ему свалиться.

Рассвет. Подъем в лагере прошел для него стороной, не затронув сознания.

— Ду штейст?

Мазур был не в силах оторваться от счета и чуть было вслух не выговорил цифру, потом опомнился, шатнулся, схватился рукой за проволоку, почувствовал резкую боль, закричал, свалился, вскочил.

Офицер едва не катался по земле от смеха.

«Выключили... значит...» — и Мазур почувствовал, как он оседает, уткнулся лицом в мокрую от росы траву.

— Включить! — крикнул офицер.

Словно пружина подбросила Мазура от земли.

Эрих от смеха выбивался из сил. Он смеялся долго, очень долго, потом поднялся и сказал:

— Было бы расточительством пускать тебя на люфт. Столько сил! В бункер!

Держась за кол, Мазур сам откинул крючок, запиравший дверь, и вышел из загона. Эрих пропустил его впереди себя. Мазур двигался к канцелярии зигзагами, упал раза два от головокружения, вернее, он не помнил, сколько раз он падал, поднимался, пока добрал до здания канцелярии. Оттуда его отправили в бункер.

Он вошел в крохотный бетонный склеп, узкий, что и сесть в нем было нельзя.

Холодная вода поднялась ему до колен. Но Мазур был настолько вымотан, что все-таки попытался опуститься на пол. Колени уперлись в стенку. Вода поднялась к горлу.

«Ничего, держись! Держись! — подумал Мазур. — Еще не все потеряно...»

И уснул полусидя.

Его разбудило осторожное царапанье в металлическую дверцу бункера.

Тело колотил озноб.

Мазур приподнялся, глянул в отодвинутый глазок. В полумгле коридора он увидел тощее лицо мальчишки с огромными глазами.

— Пьетро... Пьетро?

— Да.

В глазок просунулся клочок бумаги и огрызок карандаша.

— Кто ты? — спросил Мазур.

— Исаак. Сын Печона.

— Сейчас, — ответил Мазур, чувствуя, что пропал озноб. О нем помнят. Дорогие товарищи! Он по-прежнему не один.

— Сейчас, Исаак.

Прислонив клочок бумаги к двери, Мазур нацарапал:

«Продай Жила. Планов не знает. Умру, не выдам. Прощайте».

* * *

«Маты моя... Ридная маты моя! Чи не любила ты меня? Чи забыла про меня совсем? Только солонь твои оришки, что пекла мне на дорогу... Так солонь! И рушник твой вышитый страшным шляхом обернулся для меня...

Или любовь твоя, маты, сторожит меня, только оборачивается она хорошими людьми, продляющими мою жизнь для новых испытаний? И зачем, кому нужны эти испытания?»

Маленьким, совсем ребенком чувствовал себя Мазур. Хотелось ему хоть на миг приклонить голову на доброе плечо. Душа истосковалась по ласковому слову. И он говорил его себе сам.

Прижатый в угол вагона плотно стоящей массой людей, он с трудом переводил дыхание. В груди свистело.

Привиделось ему в полубреду, будто он и в самом деле маленький, и лицо матери склонилось над ним, и слезы ее материнские льются ему на грудь.

Размеренно бились колеса на стыках рельсов.

Изредка удущье отступало. Даже густой, словно солярия, воздух вагона казался благостным. Приходили минуты просветления, неожиданные и яркие, как просветы в низких тучах. Мазур начинал различать в неверной полутьме лица стоящих рядом с ним. Они представлялись ему отрешенными и глубокомысленными одновременно. Ввалившиеся щеки, обтянутые кожей кости, глубокие глазницы и запавшие виски будто подчеркивали ставшие высокими лбы, не закрытые коротко остриженными волосами.

Порой мысли Мазура становились очень далекими от окружавшего, беспредельными. Они словно парили над ним самим, над черствым ощущением голода, живущим в нем как

бы совершенно самостоятельно, отдельным от него существом, которое имело свои чувства, мысли, даже характер, отличный от характера самого Мазура.

А в то же время существо, которое ощущалось в нем присутствием голода, твердило свое и требовало радости за себя:

«Вырвался — и радуйся! Радуйся!»

«Не вырвался — вырвали. Что бы ты сам мог сделать? Что? Ты ничего не мог бы сделать. Ты погиб бы еще тогда, в барак для слабых, потом ты мог быть уничтожен при селекции в кранкенбау, и еще и еще потом тысячу раз! И в своей радости ты прежде всего помни об этом. Если хоть на один день это чувство вечного долга перед людьми и Родиной покинет тебя, то такой день будет для тебя последним...»

Один день и ночь словно пропали. Это Мазур заметил по нетронутому кусочку хлеба. Ему помнилось, что он съел выданную порцию, а кусочек опять оказался целым.

Теперь Мазур лежал на полу вертушки, у самой стены, на боку, занимая минимальное место. Ослаб Петр Тарасович настолько, что открыть глаза было для него большим трудом, требующим напряжения всех сил.

Тогда Мазур сказал тому существу в себе, которое олицетворялось голодом:

«Видишь, хлеб твой цел! Соседи, которых ты даже не знаешь, ни один из них не дотронулся до твоего хлеба».

И еще Мазур понял, что выздоравливает.

Мазур не знал точно, почему в тот вечер, когда он сидел четвертые сутки в бункере совершенно голодный, его спасли от неизбежного конца — путешествия на люфт.

И кто это сделал? И почему?

Узкая щель — окно бункера, если эту щель можно было бы назвать окном, — выходила во двор, обнесенный каменной стеной. В этом дворе с рассвета начинались расстрелы. Они шли весь день, и изредка ночью там вспыхивали прожекторы, слышались команды, крики жертв и выстрелы, после чего наступала недолгая тишина.

В тот вечер во дворик, судя по голосам, пригнали большую партию обреченных.

Вдруг послышался вой сирены. Объявили воздушную тревогу.

Советские самолеты пролетали над лагерем уже несколько раз, но не бомбили его. Но в тот вечер Мазур услышал, как завывали бомбы, и слышал где-то разрывы. Один был так силен и близок, что заскрежетали бетонные стены, а бункер наполнился запахом взрывчатки.

Мазур принялся колотить кулаками в стенки бункера.

Тогда кто-то невидимый в темноте открыл дверь бункера, выволок Мазура в коридор и, подталкивая, повел к выходу. Народу в коридоре было много. Бегали и кричали гитлеровцы, отдавая какие-то приказы, сновали узники, обслуживающие бункер. Но все это виделось ему словно сквозь бред. После ледяных ванн в бункере Мазур простудился. У него, видно, начиналось воспаление легких. Вначале у него мельк-

нула мысль сказать об этом сопровождавшему его человеку, но Мазур никак не мог понять в полутьме, кто же все-таки он, сопровождающий. Из бункера одна дорога — крематорий.

У самого выхода сопровождавший придвинулся к Мазуру почти вплотную:

— В эшелоне с тобой свяжутся. Поляки. Попробуйте уйти дорогой.

В следующее мгновение сопровождавший распахнул дверь, и Мазур оказался в толпе людей, получил удар прикладом, словно он выскочил из строя. Их гнали в Биркенау.

Над Освенцимом метались по ночному небу иссиня-белые лучи прожекторов. В чревах туч вспыхивали разрывы зенитных снарядов.

Узников гнали быстро, торопливо пристреливали отстающих.

«Что это? — подумал Мазур о словах, которые услышал перед тем, как его втокнули в толпу. — Что это? Провокация? Но зачем? А если не провокация... Может быть, просто-напросто галлюцинация? Я же болен...»

Теперь, после того как кризис болезни миновал благополучно, Мазур заново вспоминал и переживал те минуты. Ведь они значили очень много. Они означали, что товарищам снова удалось даровать ему жизнь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Мазур лежал в углу двора под поленницей. Дров было много. Они занимали весь промежуток между коровником и хилым забором с большими щелями меж старых, почерневших от времени горбылей. Хозяин двора, Войcek, спрятал Мазура в поленницу со стороны забора: отодвинул один горбыль, повытаскивал снизу часть поленьев, так что получилось подобие забоя, и велел забраться туда Мазуру.

Нахохленный, бирючьего вида мужчина, постоянно покашливающий в усы, пан Войcek не очень понравился Мазуру. Но выбора-то у него не существовало. Хорошо было уже то, что ему и двоим полякам, которые вывалились сквозь тесную дыру, выпиленную в полу вагона, вслед за ним, удалось найти хоть какое-никакое пристанище. Измотанный болезнью Мазур там, в вагоне, принял предложение бежать за продолжение своего бреда. И не верил в свое освобождение до той самой секунды, пока, опустившись в выпиленную щель, не почувствовал носками полуразбитых ботинок стремительно убегающую землю, пока пальцы ног не стали больно биться о шпалы. Только тогда он по-настоящему крепко уцепился на несколько секунд за доски вагонного пола, вздохнул глубоко-глубоко, словно ему предстояло погружаться в омут, и отцепился.

Он сильно ударился локтями о шпалу, проехался лицом по щебенке и помнил только об одном: держать ноги в стороны, действовать ими, как якорями, и ни за что не сгибать. Сoggi он их, сила инерции превратила бы его в ком, покатила и либо откинула к рельсам и выбросила под колеса, либо изу-

вечила о шпалы. Мазур сдержал инстинктивное желание поджать ноги. Его проволокло по полотну метра два. Он задал в себе глухой стон боли.

Потом ощутил лицом, разбитыми руками и ногами прохладу и влагу на щебенке и стал слизывать воду шершавым от жажды языком.

Над ним грохочущими накатами пронеслись вагоны.

Звонко стукнули колеса последнего, и ливень упал на его спину.

Ритмично, словно успокаивающееся сердце, затихая, удаляясь, бились убежавшие колеса поезда.

И еще несколько мгновений Мазур лежал без движения, боясь, что его заметят с тормозной площадки охранники.

Но вот шелест дождя почти сравнялся с шумом поезда вдаль.

Мазур вскочил на четвереньки. Увидел две тени, расплывчатые, неверные в струях ливня. Они бежали по полотну к нему. Он вскочил. Снова припал от боли в коленях.

Тени были рядом.

— Жив?

— Ударился...

— Быстрее, быстрее!

Они подхватили Мазура под мышки и поволокли прочь с полотна. Ноги Мазура почти не слушались.

То, что Мазур принял за лес, оказалось узкой полосой деревьев, растущих вдоль полотна железной дороги. Они вышли к полю.

— Плохо, — сказал Мазур.

— Я эти места знаю, — отозвался поляк.

Обернувшись ко второму спутнику, Мазур спросил:

— А вы?

За него ответил поляк, с которым Мазур разговаривал раньше:

— Его били по голове. Он немой.

— Как вы узнали эти места?

— Я видел сквозь окно название последней станции. Не беспокойтесь, я знаю эти места.

— А как же остальные?

— Мы прыгали за вами, потому что Гусев просил посмотреть. Он через наших передал, что вы этого заслужили. Остальным мы сказали, что в этих местах есть партизаны. В вагоне почти все были поляки. Они помогут товарищам, которые спаслись.

— Гусев... — Мазур сглотнул слюну. Горло сжало комом. Гусев там. Гусев остался. Может быть, ему труднее было бы вырваться. Вернее, он не мог уйти, потому что у него в руках сотни нитей, связывающих тех, кто продолжал борьбу за колючей проволокой.

— Да, Гусев. Вам опасен первый встречный. Вы не знаете ни местности, ни языка. Перейдем через поле, там должна быть деревня.

— Поле надо обойти, — сказал Мазур. — На мягкой пашне останутся следы.

Поляк похлопал Мазура по плечу:

— Гусев был прав.

Мазур хотел сказать, что Гусев всегда был прав, но промолчал, потому что это и так было ясно.

Притихший было дождь припустил с новой силой. Они двинулись по траве вдоль жнивья. И только теперь Мазур обратил внимание на то, что поле сжато.

Уже близилась осень.

Мазур притерпелся к боли в локтях и коленях и шел, почти не хромая, а может быть, холодная вода помогла.

День перед дождем стоял, видимо, жаркий в этих местах. Увядавшие травы сильно пахли. Мазур вдыхал полной грудью этот удивительный аромат.

Потом они свернули на межу, разделявшую полосы крестьянской земли, долго петляли по ним, пока не вышли поближе к деревне, маленькой, дворов десять-пятнадцать, с хилыми домиками, издали похожими на стога сена, покривившиеся, вросшие в землю.

— Кажется, это та деревня... — проговорил поляк.

— Какая та?

— Знакомая. Заходили сюда однажды. Год назад.

— А как вас зовут? — спросил Мазур.

— Адам.

— А ты, Адам, уверен, что это именно та деревня?

— Нам нельзя оставаться в поле. Надо попробовать. Может быть, спрячут.

— Идете тогда вместе, — сказал Мазур.

— Нет.

— Надежнее, — настойчиво повторил Мазур.

— Лучше я один рискну, — и Адам ушел.

Мазур и его немой спутник легли на межу, поросшую шершавой сурепкой, по-осеннему жесткой и ломкой.

Мазуру очень хотелось подбодрить своего соседа, который время от времени тяжело вздыхал, и он похлопал его по плечу. Тот в ответ нащупал локоть Мазура и тихо пожал его.

В деревне взлаяла собака. Яростно, со всхлипом.

Вскоре пес стал таявкать спокойнее и, наконец, замолчал.

Подул ветер. Дождь налетал теперь резкими порывами, а вскоре перестал. Тучи, наверное, поднялись выше, посветлело.

Послышались шаги.

Возвратился Адам. Он присел на корточки и заговорил тихо:

— Петр, вас спрячут. Будете ждать нас здесь.

— Нет!

Мазур почти крикнул и сам себе зажал рот рукой.

— Здесь надежные люди.

— Не оставляйте меня, Адам.

— Мы вернемся дней через пять.

— Адам, нам лучше идти вместе.

— Ты хромаешь на обе ноги.

— Я не буду...

Адам похлопал Мазура по плечу.

— Мы не оставим тебя, Петр. Мы придем за тобой.

Скрепя сердце Мазур согласился.

— Конечно, так надо.

Они пошли по деревне. Пробирались задами, ветер дул в их сторону, и единственная в деревне собака во дворе старосты, как сказал Адам, не почуяла их.

Адам предупредил своих спутников, что дверь низкая, и, согнувшись, они вошли в покосившуюся избу Войцека. Огня не зажигали. По движению в избе Мазур догадался, что в помещении находятся двое: хозяин и хозяйка, которая суетливо сновала, поминая матку бозку. Хозяин долгое время молчал, потом проговорил громко:

— Значит, Владек жив... Ядя, дай панам в дорогу петуха.

— Он же один... Как же несушка останется?

— Дай панам в дорогу петуха.

Женщина вышла.

— Я скажу утром пану старосте, что его собака лаяла на лисицу, которая нашего петуха утащила. И еще скажу, что свою последнюю курицу стану водить к его петуху. А пану старосте буду давать каждые две недели по яйцу за труды его петуха.

Адам пошутил:

— Не боитесь разориться, пан Войцек?

— Я думаю, вы покараете предателя раньше, чем он получит от меня хоть одно яйцо. А его петуха вы отдадите мне.

Адам посмеялся.

— У пана Войцека тонкий расчет.

— Вшистско едно, — сказал пан Войцек, видимо тоже решивший пошутить. — Вшистско едно, панове. А за пана не беспокойтесь. Я его как родного сына спрячу.

Вошла хозяйка, положила на стол тушку петуха, шмыгнула носом.

— Голову и лапки оставь. Завтра себе суп сварим. И пана надо подкормить.

— А правду паны говорят, что Владек жив? — спросила хозяйка у мужа и добавила: — Ведь он в самом Кракове учился.

Пан Войцек сурово сказал:

— Жив!

По тому, как это было сказано, Мазур почувствовал, что в действительности сын пана Войцека погиб.

Адам и его спутник переоделись в кое-какую ветошь, которая нашлась в доме, и бросили полосатые куртки и штаны к печке. Хозяйка ощупала снятую одежду и хотела отнести ее в чулан, но Войцек остановил ее:

— Сжечь!

— На тряпки пойдет.

— Сжечь! — повторил Войцек.

Хозяйка очень сердито махнула на него рукой и сунула одежду в печь.

В темноте избенки отчетливо проступили три маленьких, подслеповатых окошка.

Адам заторопился. Они оба попрощались с Мазуром, твердо пообещав быть не позже чем через неделю. Пан

Войцек пошел проводить их. Он не возвращался очень долго. Мазур нервничал. На столе он нащупал большой кухонный нож и спрятал его под курткой. Мазур понимал, что это глупо наконец, но не мог заставить себя расстаться с этим оружием. Хоть что-то было у него в руках для самообороны. Теперь в любом случае Мазур дорого продаст свою жизнь. Оттого, что под курткой он ощущал холодок стали, становилось спокойнее.

В окнах проступил синий рассвет.

Скрипнула дверь. Пан Войцек с порога сказал:

— Идемте, пан. Я вас спрячу.

Несмотря на свою худобу, Мазур с трудом пробрался в лаз и устроился в поленище. Дрова были теплые, сухие и пахли смолой и немножко гнилью. Поленья, уложенные очень аккуратно, неплотно прилегали одно к другому, чтобы между ними проходил ветер и сушил. Приятный запах дров, усталость и найденное, хотя и не совсем безопасное, убежище сморили Мазура. Он уснул.

Спал он крепко, без снов, без тревоги даже. Отдыхал.

* * *

Звук мотоциклетного мотора Мазур слышал, когда машина была, наверное, еще в полукилометре от села.

«Сутки прошли спокойно, -- Мазур попробовал унять волнение. — Может, это просто так... Мало ли дел?»

Сквозь щелки меж поленьев Мазур мог видеть почти весь двор перед ветхой избой. Если она еще все-таки стояла, то только потому, что Войцек ни минуты не сидел без дела: чинил, тесал, перелатывал заплаты на своем доме.

И теперь Войцек что-то мастерил у крыльца. Он тоже услышал шум мотора, но обратил на него внимание гораздо позже и, почуяв недоброе, подошел к изгороди, стал смотреть на дорогу. Он стоял шагах в десяти от Мазура, и тот спросил его:

— Немцы?

— Двое. На мотоцикле.

— Прямо сюда едут? — спросил Мазур, чтобы понять, выдал его уже кто-то или фашисты наобум объезжают окрестные деревни, вылавливая беглецов.

— У дома старосты остановились.

— Пан Войцек, а вы со старостой про петуха говорили?

— Он сам еще вчера все дворы обошел. Расспрашивал, не приходили к кому ночью сбежавшие бандиты.

— Что же вы мне-то не сказали об этом?

— Куда бы пан пошел...

— Эти-то с собаками приехали?

— Не видно.

От дома старосты послышался лай. Но, взвизгнув, пес, видимо, от пинка замолк.

— А может... — Войцек помолчал. — Может, немцы к старосте выпить заглянули. Бывало. Коли так, то пойдет сейчас пан староста по дворам закуску собирать. Грабить, пся крев!

По столь продолжительной речи Мазур понял, что Войцек волнуется.

— Ничего, пан Войцек, может быть, все обойдется.

— Что?

— Мимо, мимо беда пройдет.

— А, вшистско едно...

Постояв еще немного, Войцек махнул рукой и пошел к дому, бросив через плечо:

— Все трое теперь по дворам пошли. Ищут. Тихо лежите, пан.

Мазур постарался устроиться в закутке поудобнее.

«Ничего, пронесет! — думал он. — Вот если бы с собаками, то дело швах. Должно пронести. Должно же мне повезти до конца — выбраться. Уж тогда, гады... Только бы до оружия добраться!»

Слышалось тихое тукание и позванивание топора. Войцек сидел на колоде, тесал какую-то чурку. Сиротливо бродила по двору курица.

В деревне стояла такая тишина, будто селение вымерло.

Приложив ухо к земле, Мазур пытался услышать звуки приближающихся шагов.

И шаги раздались. Две пары ног ступали по-солдатски тяжело и четко, а третья семеняла.

— Ослеп! — выкрикнул резкий голос. — Ты что, собака, не видишь, что к тебе идут господа офицеры?

Сквозь узкие щелки между поленьями Мазур разглядел, как Войцек поднялся, стащил с головы шапку, низко поклонился. Потом Мазур увидел, как во двор вошли ефрейтор и солдат, которых староста подобострастно назвал офицерами.

— Ты тоже никого не прячешь? — спросил ефрейтор у Войцека по-немецки. — Ты тоже никого не видел?

— Не разумею, пан офицер.

Завязался длинный разговор через старосту-переводчика, который знал немецкий плохо и компенсировал свое незнание криком, оскорблениями и руганью Войцека. Тем временем ефрейтор и солдат медленно ходили по двору, заглянули в сарай, рядом с поленицей.

Мазур всем телом слышал их шаги. Он затаился и перестал дышать.

— Разгреби сено в углу, — приказал ефрейтор.

Войцек принял за разгребать сено. Мазур слышал, как шуршит сухая трава и даже дыхание Войцека.

— Ленивая свинья, — сказал ефрейтор и приказал солдату посмотреть, есть ли кто в сене.

Они копошились в каких-нибудь двух метрах от Мазура. А он, до боли стиснув зубы, весь собравшись, как для прыжка, сжимал старый кухонный нож, свое единственное оружие.

Затем фашисты, староста и Войцек вышли из сарая и подошли к поленице. Мазур видел у себя перед глазами широкие раструбы солдатских сапог. Ефрейтор внимательно осмотрел поленицу, потыкал ее носком сапога. Дрова были сложены хорошо, плотно. Видимо, на влажной от дождя земле не оставалось ничьих следов.

Войцек передавал Мазуру еду через лаз в заборе, и вообще в тоне разговора, в ленце, с которой гитлеровцы осматривали двор и сарай, чувствовалось, что они делают обыск скорее по инерции, нежели со старанием и охотой.

Наконец они отошли от поленницы.

— Сходи на чердак, — приказал ефрейтор солдату.

Тот ушел, а ефрейтор осмотрелся, где бы присесть.

— Стул пану офицеру! — крикнул староста жене Войцек. — Живо! Поворачивайся! Старая кляча!

Ядвига, которая стояла у крыльца, сунув руки в карман передника, прошла в дом, вынесла табуретку. Ефрейтор сел, закурил. Он чувствовал себя сейчас по крайней мере оберлейтенантом.

Почтительно застыв, староста находился около величественного ефрейтора.

— Обратите внимание, пан офицер, курочка — вдова.

— Вас?

— Петушка лисичка скушала. Третьего дня.

Ефрейтор добродушно улыбнулся:

— Ах, зо!

— А вдовушки, пан офицер, они особенно вкусны!

Ефрейтор захохотал. Потом ткнул пальцем в сторону курицы и чиркнул себе по шее, давая понять: он согласен на угощение.

«Ох, и гады!» — подумал Мазур.



Войцек был рядом с женой и, заметив жест ефрейтора, махнул рукой, пробурчав:

— Вшистско едно.

— Пан офицер! — вскричала Ядвига. — Пожалейте! Пан офицер!

И, выхватив из кармана передника кусок тряпки, прижала к глазам.

— Последняя! Пан офицер!

Она кричала еще что-то, но Мазур не слышал. Ему показалось, будто гром грянул среди ясного неба. В руках у Ядвиги был кусок от каторжной куртки, полосатой каторжной куртки! Видно, она по простоте душевной, сжигая одежду беглецов, не утерпела и оторвала клоч, мол, в хозяйстве пригодится.

Ефрейтор обернулся к ней, вскочил, машинально положил на табуретку бывший у него на коленях автомат, протянул руку к тряпке.

— Ейн момент! Дай!

Мазур ужом выскользнул из убежища, рывком проскочил под прикрытием забора до открытой калитки, в два прыжка оказался за спиной ефрейтора и резким движением полоснул гитлеровца ножом по горлу. Тут же, круто развернувшись, он со всего маха ударил обмершего старосту ногой в низ живота. В следующее мгновение Мазур схватил с табуретки автомат, ринулся в дом. Он столкнулся с солдатом в сенях и короткой очередью в упор убил его.

* * *

— Ну, а дальше? — спросил Адам.

— Он застрелил солдата, — медленно говорил Войцек. — Снова высочил во двор. Рассчитался до конца со старостой. А ефрейтор, тот уже подох. Потом...

Мазур вошел в землянку и укоризненно сказал:

— Сколько раз, Адам, ты будешь расспрашивать его про одно и то же?

Адам улыбнулся.

— Уж сколько раз я отвечал тебе — сам толком не знаю, — продолжал Мазур. — Увидел, что фашист автомат из рук выпустил, — и решился. Руки-то у него тряпкой были заняты. А старосту я в расчет не брал. И на Войцека надеялся. Когда я из дома высочил, он уже на старосте сидел. Мне ему только помочь осталось. Ведь так, Войцек?

Тот кивнул.

— Но самое удивительное было другое, Адам, — улыбнулся Мазур. — Этого мы тебе еще не говорили.

— Что же?

— Самое удивительное было, что жена Войцека упала в обморок, когда услышала, что Войцек знает, как попасть к партизанам.

Войцек покрутил головой:

— Будь она помоложе, вот уж я намылил бы ей холку за тот лоскут!

Мазур похлопал Войцека по плечу.

— Чего старое вспоминать. Вон ведь как обошлось. Еще повоюем и по-пешему и в танковом строю. Дело есть, Адам. Войцек поднялся.

— И вы понадобитесь, если, конечно, Адам не возражает.

— Давай про дела.

— Карты у нас нет, — сказал Мазур. — Обойдемся планчиком. Километрах в двадцати есть выемка и в ней железнодорожный мост. Вот и возьмись бы нам за него.

— Хватит ли сил? Ты, Петр, не забывай, что нас всего семнадцать да две женщины. На такой мост полтонны динамита нужно. Не меньше. А у нас всего десяток гранат, — сказал Адам и вздохнул.

— По-моему, может хватить, — подмигнул Мазур.

— Не темни.

— Войцек, вы часто там проезжали по дороге в город. Скажите, на какой стороне моста находится караульное помещение фашистов? С левой — с нашей стороны, или справа от города?

Пошевелив усами, Войцек призадумался, потом покрутил ус, а затем покусал.

— Как из города ехать... Справа. Мосток-то ведь небольшой. На левой стороне только будка с часовым.

— Мосток-то небольшой, — согласился Мазур. — Но я слышал, что там в выемке скальный грунт. Мосток висит над ручьем метрах в тридцати. Так?

— Так.

— И на мост поезд въезжает с уклона.

— С уклона.

— Вот мой план. На дело хватит пятерых. Мы пробираемся к мосту, снимаем часового. Потом закладываем метрах в десяти от моста под рельс гранаты. Ждем. Когда поезд метрах в ста от нас, взрываем рельс и катимся вниз.

— А вагоны — на нас? — спросил Адам. — Только ты пойми...

— Я знаю, что никто из нас не трус, — сказал Мазур. — Но пойми, что риска здесь почти никакого. Вагоны по инерции пойдут прямо на мост. Не мы, а сам состав искорежит мост и полотно так, что и двух недель не хватит их восстановить.

— Может получиться, — согласился Адам.

— Может, — кивнул Войцек.

— Вот мы завтра поутру и пойдем на разведку. Еще раз обмозгуем на местности все детали операции. Скоординируем действия. — Мазур прошелся по землянке из угла в угол.

Адам улыбнулся.

— Крепко в тебе сидит солдат.

— Я не просто солдат. Я на всю жизнь боец с фашизмом.



ПОИСКИ И НАХОДКИ

Рубль весом в килограмм

Многие помнят оду Михаила Васильевича Ломоносова, которую он посвятил царице Елизавете. Она приказала выдать поэту награду — две тысячи рублей.

Их перевезли на квартиру Ломоносова на двух подводах.

Выдали две тысячи рублей медными деньгами, так как золото и серебро уходило на расходы царского двора. Вес монет на один рубль составлял примерно 900 граммов. Теперь нетрудно объяснить, почему такой тяжелой оказалась царская награда, которую получил Ломоносов. Она весила примерно 1800 килограммов, то есть немногим меньше двух тонн.

Однако, если бы такая награда была выдана Ломоносову через двадцать два года, было бы еще хуже. Две тысячи рублей весили бы тогда ровно две тонны. И вот почему.

Опустошив казну ради фаворитов и безумной роскоши, императрица Екатерина II решает выпустить бумажные ассигнации, а потом заменить дефицитную золотую и серебряную монету медью.

Медный рубль весом в килограмм хранится в коллекции инженера Павла Клиорина.

Для чеканки этих рублей был выделен Сестрорецкий монетный двор. Срочно изготовили и утвердили рисунок штампа, и 22 августа 1770 года два образца с трещинами и два без трещин были представлены в сенат. На этом и прекратился выпуск такой монеты, так как ни одна машина не могла изготовить нужные медные кружки.

Сейчас такой рубль очень редок, в сенат было представлено всего четыре образца. Однако, считая те, которые можно найти в частных коллекциях, советских и зарубежных музеях, их всего примерно 12—15. Очевидно, с монетного двора несколько монет попали в руки любителей редкостей.

В 1925 году Павлу Клиорину, тогда еще неопытному нумизмату, предложили купить еще один такой рубль, но с дырой в центре. По закругленным краям отверстия можно было догадаться, что монета эта служила противовесом на дверях какого-то торгового заведения. Возможно, что у кого-нибудь еще есть такая редчайшая монета. У кого?

Простая почтовая открытка

Нас окружает бесчисленное множество маленьких, казалось бы, ненужных вещей. Мы привыкаем к ним, перестаем замечать. Иногда выбрасываем, уничтожаем. Между тем некоторые из них имеют любопытную историю, изучая которую можно узнать много нового, интересного.

С почтовой открыткой мы сталкиваемся почти ежедневно.

Но иногда иллюстрированная открытка оказывается в центре совершенно неожиданных событий.

Вторая мировая война. Уже в первые дни немцы сбросили бомбу на здание английского адмиралтейства. Был уничтожен огромный фотоархив. Английская разведка оказалась слепой. 17 мая 1942 года английское радио обратилось к населению страны с призывом передать военным властям все открытки и фотографии. «Неважно, где сделаны снимки. В Булони или на Фиджи, в Сен-Мало или Гонолулу. Внутри страны или на побережье...» — говорилось в этом обращении.

Многочисленные отклики позволили разведывательным органам создать архив вновь. Во время Сицилийской операции понадобилась фотография отеля «Сан-Доминико» в Таормине, на восточном побережье Сицилии. Здесь, по данным военной разведки, помещался немецкий штаб обороны острова. Известно, что виды отелей и гостиниц с прилегающей местностью с целью рекламы очень часто воспроизводятся на почтовых открытках. Очень скоро нужную открытку нашли у одного коллекционера.

Эта открытка вместе с материалами аэрофотосъемок позволила определить маскировку. Открытка сделана незадолго до войны, в 1939 году, и на ней отсутствовали некоторые «детали пейзажа», которые хорошо были заметны на цветных аэрофотоснимках, обработанных зеркальными стереоскопами.

Например, веселые коттеджи на двух холмах. Безобидные домики, как оказалось, прикрывали командные пункты артиллерии.

Гитлеровский штаб был уничтожен.

...Надпись на открытке: «Профессор истории СПб университета Е. Тарле. Пострадал 17 октября 1905 года». Эта уникальная открытка рассказывает об одном из эпизодов демонстрации в день опубликования царского манифеста. Известный историк Е. В. Тарле был избит казаками. Объектив фотографа запечатлел его на больничной койке. Открытка выпущена нелегально и была очень редкой. Сам академик увидел ее впервые 50 лет спустя в коллекции Николая Спиридоновича Тагрина.

В этой коллекции есть открытки с совершенно уникальными изображениями. Первые две петербургские электростанции, например. В коллекции Тагрина хранятся открытки, запечатлевшие их странное расположение — на деревянной и железной барках. Одна из них была причалена у Полицейского моста на Мойке, другая у Аничкова моста на Фонтанке. Это объяснялось тем, что земля в городе принадлежала разным предпринимателям и те не спешили потесниться — им было невыгодно.

Несколько лет назад в коллекцию Николая Спиридоновича попала открытка, на которой были изображены Антон Павлович Чехов и Лев Николаевич Толстой. Через некоторое время коллекционер обнаружил другую, на ней был еще и Алексей Максимович Горький. Нетрудно было установить, что обе эти открытки сделаны с одного и того же снимка. Наконец, собиратель приобрел третью открытку с того же снимка — на ней был один Лев Николаевич Толстой.

Какая же из трех подлинная? Пришлось, чтобы установить это, прибегнуть к помощи литературоведов, историков. В конце концов оказалось, фотография была сделана летом 1901 года в Крыму женой Льва Николаевича Толстого — Софьей Андреевной, когда на даче в Гаспре их посетил Антон Павлович Чехов. Портрет же Горького был сделан совсем в другое время и попал на открытку по прихоти издателя, который с целью барыша распространял открытку «в трех вариантах». Как видите, труд коллекционера — это труд исследователя.

Граммофонные пластинки

Более шести тысяч граммофонных пластинок в коллекции Леонида Филипповича Волкова-Лапнит.

Однажды коллекционер нашел не пластинку, а только осколок с маленьким голубым кружком граммофонной этикетки. На ней стояло: «Похоронный марш. Н. Н. Иконников». Пластины не было. Кто такой Иконников? Почему его имя и его музыкальные произведения остались неизвестными?

Начались поиски. Наконец в справочнике «Вся музыкальная Россия» за 1915 год Леонид Филиппович обнаружил: «Иконников Н. Н. — композитор. Киев, Владимирская, 18». Жив ли он? Где его можно найти? На первый вопрос помогли ответить документы, найденные в Управлении по охране авторских прав, один из них был датирован 1953 годом. Значит, Иконников жив?! В другом, который удалось разыскать коллекционеру, последним местом жительства значился город Барнаул.

Леонид Филиппович едет в Барнаул. Здесь происходит встреча энтузиаста-коллекционера и старого композитора. Найденная таким образом пластинка оказалась записью известного траурного марша «Вы жертвою пали».

Но не всегда удастся пластинку найти.

...Впервые фабричные пластинки с голоса Л. Н. Толстого появились в январе 1910 года... А в ноябре писатель скончался!

Штрафная эпидемия на произведения Толстого разразилась сразу же после его смерти. Самодержавие неистовствовало. Библиографический бюллетень придворного издателя Вольфа завел рубрику «Конфискация и аресты», в которой в основном рассказывалось об арестах на сочинения Толстого. С 1906 по 1911 год его произведения конфисковывались 46 раз. Изымались даже статьи о писателе, запрещалось демонстрировать документальные кадры, продавать его портреты.

«В Риге конфискованы пластинки Л. Н. Толстого» — промелькнуло в 1912 году в газетной хронике. В Риге находилась первая крупная фабрика грампластинок, принадлежавшая акционерному обществу «Граммофон», в Ригу поступала и заграничная продукция.

Только за один 1910 год разошлось более 100 тысяч пластинок с записью текста «На каждый день». В 1912 году в Москве в помещении кинотеатра «Вулкан» на Таганке было организовано коллективное прослушивание пластинок Л. Н. Толстого.

Потеряв всякое самообладание, правительство издает в 1912 году циркуляр для полиции: «...конфисковать пластинки, которые являются нежелательными по местным условиям... вредного и даже преступного характера речи политических агитаторов...»

Чем был вызван этот циркуляр и действительно ли он относился к пластинкам Толстого? Об этом можно судить по остроумной уловке, к которой из цензурных соображений обратилась газета «Обозрения театров» в том же 1912 году. Напечатав текст циркуляра, редакция без абзаца напечатала к нему следующие строки: «Издание этого циркуляра вызвано недавней конфискацией пришедших из-за границы граммофонных пластинок с записью «Исповеди», читанной Л. Н. Толстым».

Итак, стало известно и то, против кого был направлен этот циркуляр, и то, что на фонограмму была записана «Исповедь», да еще с голоса самого писателя.

Когда и кем, при каких обстоятельствах была сделана эта запись? Это тем более интересно, что ни одного экземпляра такой пластинки до сих пор не удалось разыскать.

Голос Льва Николаевича записывался дважды: в январе и октябре 1909 года посланцами Эдисона и представителями английской фирмы «Граммофон». Но никогда и ни в одном сообщении не упоминалось о записи «Исповеди».

Вместе с представителями фирмы в Ясную Поляну в октябре 1909 года приезжали писатели Белоусов и Митропольский. В воспоминаниях Белоусова об этой записи не упоминается, а из мемуаров Митропольского, опубликованных в журнале «Кривое зеркало», мы узнали, что ни Белоусов, ни Митропольский при самой записи не присутствовали... Остается предположить, что запись сделана в октябре 1909 года, фонвалики отправлены в Англию, а фабричные пластинки, изготовленные также в Англии, были конфискованы в Риге в 1912 году...

Может быть, такая пластинка хранится у кого-нибудь из наших читателей? Поиски нужно продолжать.

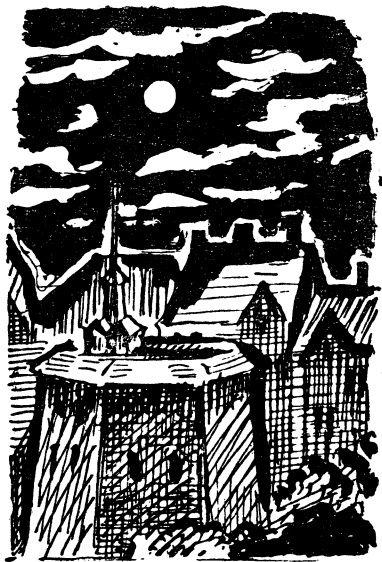


ВЕСЕННЕЕ



Первые холодные тени апрельских сумерек спустились над Лондоном, когда Шекспир остановил своего коня перед домом цирюльника. День выдался не по сезону жаркий. Конь Шекспира был взмылен, да и сам хозяин в пыли с головы до ног, усталый и возбужденный. Запахи большого города охватили его, и в таком настроении он въехал на улицу Силвер-энд-Меггл, самый грязный квартал Лондона. С минуту никто, казалось, не замечал прибытия Шекспира, затем внезапно раздались крики.

— Это Вилл, муженек! Это Вилл Шекспир! — донесся голос мистрис Монтжой, звеневший от радости. В одно мгновение муж и жена выбежали на улицу. Мистрис Монтжой, лазурная стрела, быстрая, прямая и гладкая, как лебедь; длинные боковые складки ее муслинового платья разрезали воздух,



БЕГСТВО

Творчество любимых писателей зачастую приобретает для нас новые краски и по-новому, глубоко осмысливается нами, когда мы узнаем о жизни самих писателей, видим их живыми...

На страницах «Искателя» были напечатаны рассказы об Эдгаре По, об Александре Грине. Сегодня мы предлагаем читателям рассказ прогрессивной американской писательницы Инессы Ирвин о Шекспире. Жив и убедителен в нем образ великого английского писателя, убедительна и идея рассказа: народное творчество, конкретное соприкосновение с жизнью были необходимы Шекспиру и тогда, когда он писал о самых фантастических приключениях.

На русском языке рассказ «Весеннее бегство» впервые опубликован в 1936 году в журнале «30 дней». Новый перевод для «Искателя» сделан П. Охрименко.

Рисунок В. ЧЕРНЕЦОВА

чуть подернутые сединой волосы были в полном порядке. Сам Монтжой, рябой, с большим носом, тупым взглядом и щеками цвета его красно-коричневого кафтана, с гладко причесанным, блестящим париком двигался медленно в силу своей грузности и огромного роста, а может быть, в силу инстинктивной неприязни к Шекспиру. Позади них, у открытой двери, тотчас столпились подмастерья с коротко остриженными головами. Они постояли, разинув рты, но сразу скрылись, как только Монтжой бросил на них суровый взгляд. Мистрис Монтжой, взяв Шекспира за руку, сердечно поцеловала его.



— Славно, славно, паренек! — воскликнула она. — Добро пожаловать! Мы ожидали тебя через месяц. Что так рано собрался в Лондон?

Шекспир пожал руку мистеру Монтжой. Он рассмеялся невеселым смехом.

— Ей-богу, мистрис, сам не знаю, что со мной. Причуда! Внутреннее побуждение! Совершенно не могу заниматься дома. Вот уже несколько месяцев у меня никак не клеится работа. Мозг стал ленивым и неподвижным. Стрэтфорд вдруг опротивел мне, и меня потянуло в Лондон. Моя комната свободна, мистрис? Я ведь могу найти себе приют где-нибудь в другом месте...

— Свободна, свободна и ждет тебя, Вилл! — отвечала мистрис Монтжой. — Но почему мы стоим здесь? Чтобы на нас глазел весь Лондон? Заходи в дом, паренек!

Монтжой отстегнул седельные мешки, передал их подмастерью, которого он подозвал все тем же суровым взглядом, и увел коня. Шекспир последовал в дом за хозяйкой. С полдесятка подмастерьев, перебивавших и сортировавших волос, после ухода хозяина только делали вид, что работают: они удивленно глазели, бросая косые взгляды на гостя. В одном углу три главных мастера, воткнув иглы в парики, надетые на деревянные болванки, с любопытством глядели вслед гостю. Лицо девушки, с двумя голубыми «О» вместо глаз и одним удивленным красным «О» вместо рта, показалось из-за двери.

— Кувшин воды, Нэн! — резко зазвучал голос мистрис Монтжой. — И свежие полотенца, Джоан, в горницу для гостей! Чернила, перо и бумагу! Свечи! Шевелитесь, девки! Седельные мешки притащи сюда, Кон!

Тотчас за ее словами на кухне раздался звон и лязг. Мистрис Монтжой проворно стала подниматься вверх по лестнице, ее пятки красными полосками сверкали из-под лазурного платья. Шекспир следовал за ней. Они вошли в комнату, большую, с низким потолком, окнами во двор. Ни на минуту не переставая болтать, мистрис Монтжой открыла оба окна. В неподвижную тяжелую атмосферу комнаты ворвались струи свежего воздуха вместе с ароматом ранних цветов из сада. И ворвались голоса, которые можно слышать в сумерках: крики играющих детей — мальчики играли в мяч, а девочки пели: «Падает, падает Лондонский мост», и отдаленные, слабые возгласы подмастерьев на Чипсайде. Поток серебристо-бурого сумеречного света, пронизанного красными лучами заходящего солнца, вливался в комнату, ложась на хорошо натертый пол. Низкая широкая кровать, широкий, почерневший от времени стол, два стула, комод с резьбой черными пятнами выступали на этом розово-серебристом фоне.

Шекспир остановился посредине комнаты, словно ослепленный светом, и стал оглядываться. Его вдруг охватило чувство усталости — облегчение — освобождение — усталость — покой — усталость...

— Ты устал, — сказала мистрис Монтжой сочувственно. — Хоть ты и загорел, но вид у тебя измученный, и свет погас в очах.

Это было верно. Хотя солнце сделало оливковое лицо Шекспира почти черным, глаза его были безжизненны. Слабый блеск их, казалось, исходил не изнутри, словно сила, таившаяся в них, умерла, и они отражали лишь падавший на них свет. Но его затененные усами губы были полны и упруги, и на них появилась улыбка, своим блеском придававшая его лицу ту сердечную привлекательность, которая когда-то его отличала. Однако улыбка промелькнула лишь на мгновение. Выражение, обычное для него — спокойное, сдержанное, почти загадочное и сейчас отмеченное усталостью, — затмило ее совершенно.

Машинально Шекспир сел и протянул ноги, чтобы мальчик стащил с них сапоги. Машинально он следил, как мистрис Монтжой рылась в его седельных мешках, пока не нашла его туфли; так же машинально он следил, как мальчик надевал туфли ему на ноги.

— Устал! — сказал он. — Да, устал. Все мое тело устало. Четыре дня я ехал. Но это не все. Мой ум устал. Правду сказать, я прокис от деревенской жизни, от деревенских людей, от деревенской мысли. Эта тишина — проклятая, мертвая, отупляющая тишина... И еще, наверно, и годы... Право, не знаю. — Он снова рассмеялся невеселым смехом. — Ты не поверишь мне, мистрис, но я, Вилл Шекспир, прилежный труженик, вот уже несколько недель не брал пера в руки, не написал ни строчки. Часами просиживал я, охватив голову руками, мой мозг кипел, горел. Затем пять дней назад я вскочил на коня, повернул его мордой к Лондону — и вот я здесь. Как я ехал, по каким дорогам, как быстро — не могу сказать. Один только вечер в Оксфорде, в таверне святого Георга, ясно встает в моей памяти. Помимо этого, лишь долгие дни пыли и дождя.

Мистрис Монтжой быстро взглянула на него.

— А мистрис Дэвнет, — спросила она спокойно, — как ее здоровье? И как твой крестник?

Она сняла с него плащ, взяла шляпу из его вялых рук.

— Здоровы, здоровы! И она и он, — отвечал Шекспир. Голос его звучал устало. И когда в комнату вошли две служанки — Нэн, голубоглазая, с льняными кудрями, с полными бедрами деревенской девушки; Джоан, смуглая и сердитая, но красивая, хотя и немного развязная, — он рассеянно стал следить за их движениями. Нэн поставила свечи на стол, взяла плащ и шляпу Шекспира — исчезла. Джоан принесла оловянный кувшин и миску, поставила их на скамейку, вытерла расплескавшуюся воду — исчезла. Нэн вернулась с тонкой стопой бумаги, оловянной чернильницей, гусиным пером; Джоан — с полотенцами. Шекспир продолжал отвечать мистрис Монтжой на расспросы о его семье.

Да, Энн здорова. Сэкки и Джюди здоровы. Джоан здорова. И ее три мальчика — Вилл, Том и Майкл — здоровы. Маленькая дочурка Сэкки — впервые усталое лицо Шекспира просияло радостно при упоминании о его единственной внучке — прямо цветет. Да, Бетти — замечательная девочка для своего возраста: милая, веселая, обаятельная, общая любимица. Мистрис Монтжой, казалось, не обращала внимания на небрежные

ответы Шекспира. Но внезапно она прервала поток своих вопросов, отдав распоряжение служанкам относительно ужина: — Жареная рыба — мясной пирог — торт с крыжовником, Джоан. И побольше эля, Нэн... и пирожных. Ну, за работу, девки!

И тотчас вслед за этим начала разговор о театре. Слыхал ли Вилл о новом театре «Надежда»? В городе только и разговора, что о нем. Это будет добавление к театру «Парижские сады». Генслоу и Мид — Вилл, конечно, помнит Мида, здорового, мохнатого, как медведь, лодочника с трубным голосом — строят этот театр. В «Садах» будет также открыта таверна «Танцующие медведи», и Мид будет жить при ней... Говорят, этот театр будет лучшим в Лондоне... Да, для постановок. И, конечно, травля быков медведями будет показываться на его арене... Эти двое — очень умные ребята! Не слыхал ли он, что они также открывают старый театр «Лебедь»? Лондон сейчас прямо сходит с ума по театрам. Конечно, Шекспиру известно, что тот сельский пастор с дурной репутацией, которого пронизательный старый Генслоу спас от тюрьмы за долги, составляет детскую труппу. «Верная пастушка» Флетчера оказалась слабой вещью. Что касается ее личного мнения, то она считает, что Флетчер один никогда не попадет в вкус публики. Но с Бомонтом... Правда, их «Трагедия девушки» не очень понравилась зрителям. Но подумайте, как восхищалась публика «Гордой женщиной», а от их «Филастера» Лондон прямо сходил с ума! Чапмен бросил писать пьесы; уехал куда-то — кажется, в Саутгемптон в качестве гостя — и там переводит древнего греческого поэта Гомера. Этот труд займет у него много месяцев...

Позволив своему гостю извлекать как можно больше утешения из этого ученого занятия его соперника, мистрис Монтжой быстро перескочила с Чапмена на что-то другое, но так искусно, что в следующую минуту они уже говорили о последнем успехе Джонсона, как будто это неизбежно вытекало из разговора о Чапмене и Гомере. «Алхимик» Бена Джонсона, по словам мистрис Монтжой, буквально зажег воображение Лондона. Бербеж по обыкновению исполнял ведущую роль и, как уверяла мистрис Монтжой, с необычайным подъемом. Она заявила, что ей в такой же мере нравится Бербеж, в какой не нравится его соперник Филд. Можно ли сравнивать Бербежа с Филдом! Она смотрела его «Ричарда» — здесь мистрис Монтжой подтянулась, словно вспомнила вдруг, что ее гость — драматург, — и «Ричарда Третьего» Вилла три раза. Бербеж взволновал ее кровь, в то время как Филд... Она чуть не заснула, слушая тягучие, холодные монологи Филда. Она обожает «Молчаливую женщину» Бена Джонсона больше любого из его произведений — да, гораздо больше даже, чем «Алхимика». Но для легкого развлечения она предпочитает «Женщину, загубленную добротой» или «Праздник сапожника». Та женщина никогда не жила, сердце которой не преисполнится печалью от первой пьесы. Она всегда говорила и будет утверждать, что Бен не мыслит ничего в женщинах. Она считает, что «Молчаливая женщина» служит доказательством этого. Разве Эпикена, лучший его женский образ, не

оказалась в конце концов женщиной? Лично ей нравятся пьесы, в которых действующие лица взяты из жизни; женщины, которых она могла встречать повседневно, быть с ними знакома. Ей не нужны бескровные русалки из «Верной пастушки» или «Филастера», с одной стороны, равно как и странные ходячие куклы Бена — с другой. Что же касается «Женщины, загубленной добротой», то героиня этой пьесы могла быть ее родной сестрой Бесс, настолько она естественна! И так дальше и так дальше, пока снизу не донесся скрипучий голос мистера Монтжоя:

— Эй, там! Когда же мы будем ужинать? Недаром говорится: «Женский язык!..»

* * *

Медленные весенние сумерки сменились полной темнотой, когда Шекспир вышел из дома Монтжоев. Длинный, тонкий серп молодой луны спустился почти до горизонта. Но при слабом свете можно было различить мокрую поверхность улицы, параллельные ряды обшитых досками домов, черные прямоугольники уличных вывесок. Погода к ночи резко изменилась; дул холодный сильный ветер. Шекспир закутался поплотнее в свой плащ, когда повернул к Чипсайду. Ванна, прекрасный горячий ужин, великолепный прохладный эль телесно его освежили. Но духовно!..

Он не мог сказать, что болтовня мистрис Монтжой вдохновляла его. По временам она была ему даже неприятна, но, во всяком случае, она хоть на время рассеяла накопившуюся за последние три месяца меланхолию. Некоторые слова мистрис Монтжой пробудили в нем, хоть и в слабой мере, давно заглушенное желание, забытое сожаление. Саутгемптон и Энн... На одно мгновение старая боль вошла в его сердце. Женщины, которых звали Энн, играли в его жизни большую роль, подумал он. Энн, его сестра, друг детства, белая и розовая, с лицом как у куклы, умершая еще в юности. Энн Хатуэй, возлюбленная его юношеских лет! Гладкие, блестящие волосы были у Энн Хатуэй и глаза голубки. Загар, который дает деревенское солнце, боролся в ней с тем розовым цветом, который дает жизнь среди природы. И затем Энн Дэвнет — страсть его зрелых лет. Чем пленила его Энн Дэвнет, что на полдесятка лет она превратила жизнь разумного, здорового человека в пытку? Она не была красива. Он сам в момент горького протеста против ее чар отметил это в своих стихах. Лицо ее не было красиво, и ее маленькая плоская фигура лишена была изящества, хотя Энн была настолько тонка, что двигалась, как тень. Не были красивы и ее черные, прямые, жесткие волосы. Равно как и ее косоватые, с тяжелыми ресницами глаза, такие темные и живые, но без малейшего огня. Но что все это по сравнению с ее ртом! Ни у одной женщины никогда не было такого рта, как у Энн: в меру широкий, с углублениями в уголках губ, такой холодный и такой горячий, настолько сладостно красный, что, горя на ее бледном лице, он обжигал. Саут-

гемптон и Энн... Образ друга — и соперника — внезапно встал в его памяти: гонкий, высокий юноша с каштановыми кудрями и чудесным цветом лица; его карие глаза, вспыхивавшие красным огоньком; его щегольской вид и мечтательный взгляд; глубина его мысли, изящество выражения. Но сейчас он мог соединить вместе эти два имени в своем уме, не испытывая прежнего чувства полного духовного уничтожения. И как только притупилась эта боль, их образы улетучились. Волнующая его проблема подняла перед ним свое испитое лицо.

Будет ли он снова писать когда-либо? Неужели от него ушло навсегда то бодрое, радостное настроение, которое всегда охватывало его, когда он начинал творить и при котором он иногда кончал пьесу в одну неделю? Есть ли этот паралич лишь временный духовный застой или это старость — это слабое мерцание творческих способностей? За долгое время работы ему приходилось приспосабливаться ко многим вещам. Когда-то он был творцом моды в драме, шел впереди других. Нынче же он плетется за другими, подражает им и все больше и больше замедляет ход. Эти молодые весельчаки-драматурги — Флетчер и Бомонт... Как они пишут и с какой легкостью и новизной! Ну что ж, он должен следовать за ними, куда поведет их звезда. Да, он был бы рад идти за ними, если бы только мог создать какую-нибудь крупную вещь, облекши ее в новую форму. Но у него ничего не выходит. Что случилось с ним, чего ему недостает? Всегда он задумывался над этим, и теперь перед ним вновь встала эта проблема: если твоя работа так тесно связана с твоей жизнью, то ты должен жить так, чтобы жизнь твоя была наилучше приспособлена для этой работы. Что касается его, то, как бы он ни старался освободиться от уз, которые связывают смертного, ему по долгу приходилось жить такой жизнью, как будто работы вовсе и не существовало для него. Вначале он много жил и мало работал; затем начал работать все больше и больше, а жить все меньше и меньше, пока его жизнь не стала одним сплошным трудом.

Быть может, это и было его ошибкой — эта усиленная работа, может быть, и истощила пыл его души?

Но вот, например, Бен! Никто не работает больше Бена, и на протяжении десятков лет он живет так, что его жизнь служит лишь придатком к его работе. Конечно, в молодости Бен вел очень разгульную жизнь — тот период его жизни в провинции. И он избрал Лондон как сцену для большей части своих пьес и остался жить в Лондоне, грязном, вонючем Лондоне, доминируя над литературной жизнью столицы, как он и заслужил того.

С другой стороны — Марло! В цвете молодости он бросился в огненную пропасть, в самую гущу жизни, отдав ее пламени все свои жизненные соки. Умер от чрезмерной любви к жизни. Имел ли Марло право на это? А Кид и Грин — эти расточители пыла молодости? Они также — все трое — жили в городе и пили полной чашей его яд. Не есть ли в конце концов быстрая погоня за жизнью самый разумный путь? Однако бесполезно теперь жалеть о том, что он не пошел по

этому пути, — все равно, вел ли этот путь к разумной жизни или к безумию, ибо он не мог бы жить в городе, как бы ни старался. Насколько он был очарован Лондоном вначале, настолько же холодно стал смотреть на него в конце. Жизнь на природе влекла его к себе. Он старался оставаться глухим к этому настоящему зову. Но, наконец, он внял ему и возвратился в Стрэтфорд.

И другой мотив явился тут — он честно должен признать это. Он хотел опять прочно вписать имя Шекспир в жизнь Стрэтфорда. Это был священный долг: его отец завещал ему это. Он непременно должен был это сделать, выбора тут у него не было. И в то же время опять сомнение. Может ли поэт вступать в сделку со священным долгом? Какое дело до так называемого долга? Разве поэт не есть сам себе закон? Нет, он покорно, не задавая себе вопросов, последовал побуждениям шекспировской крови. Он вернулся в Стрэтфорд. Он претворил шекспировские побуждения в силу. Он заполнил то место, которое ему намечалось... И Энн приобрела большую важность, по мере того как его положение возвысилось. Конечно, была старая рана многих лет его отсутствия, но эта рана уже зажила. Энн была спокойная женщина, чье сердце сохраняло нежность и отвергало горечь. И судьба наградила ее достойным общественным положением в лице ее двух дочерей. Сэкки вышла замуж за видного человека; Джуди была подружкой невесты ученого...

Быть может, он потому не описал хорошо ни города, ни деревни, что целиком не принадлежал ни тому, ни другому. «Женщина, загубленная добротой»... «Праздник сапожника»... Опять болтовня мистрис Монтжой. Он никогда не может сравниться с Хэйвудом или Деккером в избранной ими области, говорил он самому себе. Однажды, решив переделать «Три женщины из Лондона», он сделал попытку описать город; в «Карденне» намеревался описать деревню. Но ему это не удалось, настолько не удалось, что он отдал эти бесформенные, туманные, далеко не законченные вещи: одну — Хэйвуду, другую — Флетчеру. Он может писать лишь о далеких, чуждых странах, об отдаленных временах или о странах и временах столь фантастических, что ни один критик не откажет ему в фантазии.

Такой фантастической вещью будет и его новая пьеса! Если только она когда-либо будет написана... Ах, как он страдает от ее бесформенности и неясности! Остров. Где-нибудь? Нет, нигде. Остров, носящийся между небом и морем. Остров — воздушный и нереальный, как облако, фантастический, как видение. На нем — три существа. Девушка. Изящное, чистое, девственное создание. Мирандола? Мирала? Миронда? Нет, Миранда. Да, вот именно — Миранда. И старик, мудрец, чародей — Просперо. Старик, который изгнал духов с острова в одно мгновение и мог уничтожить остров в секунду!

Мы сами созданы из сновидений.

И эту нашу маленькую жизнь сон окружает¹.

¹ «Буря» Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.

Уже некоторые строчки сами собой рождались в его уме. И затем, как противоположность этим двум, не имевшее еще ни имени, ни образа, — ибо как ни напрягал он свой ум, он не мог видеть его перед собой, — безобразное, бесформенное существо, какой-то леший, эльф, чудовище. В целом пьеса должна быть феерией, произведением, в котором Сон кажется реальным, земным. Название было ясно: «Летняя сказка»: И это все!

Это все проходит в течение трех месяцев. Остров и три существа на нем, и название — «Летняя сказка». Быть может, это было слишком феерично. Во всяком случае, мысли витали в неоформленном состоянии в его сознании. Прошли месяцы и месяцы, прежде чем этот огненный быстрый поток его духа нашел выход. И что бы он ни делал, ничего больше не выходило. Ни усиленное мышление, от которого голова шла кругом. Ни чтение по столько часов кряду, что становилось больно глазам. Ни длинные прогулки в окрестностях Стрэтфорда до боли в ногах. Ни долгие разговоры, от которых он начинал ненавидеть всех, кого ни встречал. Ни мечтания. Ни проклятия. И он, наконец, решил посмотреть, что может дать ему Лондон — Лондон, который при его появлении широко открыл свои ворота, соблазнил его намеком на успех и затем благодаря простой случайности, что Энн Дэвнет гостила здесь у своей сестры, поглотил, словно алчное, холодное чудовище, всю силу и страсть его молодости.

* * *

Шекспиру казалось, что он прошел уже большое расстояние, так быстро и мучительно работала его мысль. На самом же деле потребовалось всего лишь несколько минут, чтобы пройти от Силвер-стрит до Чипсайда, а затем до таверны «Сирена». Только изредка встречал он на улице прохожего, пока не подошел к тихому провинциальному двору таверны. Экипажи с поднятыми верха́ми чернели смутными очертаниями под звездным небом. В ночной тьме томились лошади, ударяя копытами о землю и помахивая хвостами. Белая кошка промелькнула у него под ногами. Но нигде не замечалось присутствия человека, и в самой таверне было тихо. Он круто повернул налево и, подойдя к угловой двери, постучал звучной дробью. Не дождавшись ответа, он открыл дверь и остановился на пороге просторной светлой горницы с толстыми балками на потолке, большими окнами в двух стенах и с огромным очагом.

Его появление произвело нечто похожее на оцепенение среди людей, сидевших полукругом у очага. Затем: «Бог мой, да ведь это Вилл!» — воскликнул огромный детина, сидевший посредине. Он неуклюже поднялся с широкого кресла и поковылял, как медведь, к двери. И, как медведь, обнял Шекспира, затем похлопал его своими чудовищными лапами по плечам, по рукам и по спине.

— Разрази меня бог, если я не рад тебя видеть! Вот удивил! От тебя запах сельских просторов, дружище, — клевера и свежескошенного сена!

Все, кроме одного, который сидел в углу и писал, сразу об-

ступили Шекспира. Тот, что писал, пода́л знак рукой, и тотчас все пропели дружным хором: «Привет тебе, Вилл из Эвона, привет!»

Шекспир улыбнулся и пожал всем руки — Бербеджу и Бомонту, Флетчеру и Хемминджу.

— Ну, как бьется сердце тигра? — весело спросил сидевший в углу, ни на минуту не отрываясь от своего писания.

— Говорит, как всегда, — отвечал Шекспир, пожимая его свободную руку. — Честное слово, Том Хэйвуд, — продолжал он, обращаясь к писавшему, — и бог мне в том свидетель, что когда я уезжал в Стрэтфорд прошлой весной, я оставил тебя с пером в руках в этом самом углу и теперь, по возвращении, вижу, что ты все еще строчишь, сидя на том же самом месте. Сколько пьес ты накатал за эти двенадцать месяцев?

— Пять! — лаконически отвечал Хэйвуд, переставая писать, чтобы покрутить свои длинные, жидкие, торчащие усы и смотреть Шекспира комическим взглядом. — И во всех этих пьесах сам выступал как актер и, кроме того, писал стихи. И, как всегда, все это написано на бланках трактирных счетов.

— Но не вздумай писать другую героическую поэму, умоляю тебя, Том! — сказал Шекспир с жестом человека, отражающего оскорбление.

Прежде чем Хэйвуд успел ответить, балки задрожали от громкого, долго сдерживаемого смеха его приятелей. А он, вместо того чтобы ответить, продолжал спокойно писать, пока они не перестали смеяться.

— Если ты будешь бить в набат, — пригрозил он, — то я еще сегодня успею настроить эпическую поэму!

— Подойди поближе к камину, Вилл, — приказал Бен Джонсон, — дай нам взглянуть, как тебя жалует деревенский воздух.

Компания снова уселась полумесцем у очага. Хемминдж поставил стул для Шекспира по правую сторону от Джонсона.

— Ну, а теперь будем веселиться! — воскликнул Джонсон, заглянув сперва на дно огромного кубка, который он держал в своей лапе, и затем описав им круг. — Эй там, мальчик! — крикнул он. И так как ответа не последовало, то он прогремел еще несколько раз: «Мальчик! Мальчик!» Когда открылась дверь и на пороге показалось бледное, чумазое, испуганное лицо мальчика, он сказал:

— Принеси нам вина, мальчик, «Кэнери» на этот раз, и побольше. Ну-ка, побыстрее! Слышишь? Не то я отрежу тебе горло и зажарю его вот на этом огне прямо у тебя на глазах.

Когда дверь стремительно затворилась, он повернул к Шекспиру свое широкое круглое лицо с торчащей черной бородкой, где уже пробивалась седина, и клоком волос надо лбом, черных и жестких, как проволока. Где-то между лбом и бородой, в глубоких складках твердой кожи, светились настоящие черные звезды — его необыкновенные глаза.

— Расскажи нам о Стрэтфорде, Вилл. Бес его побери, ребята, если бы вы знали, как я тоскую по зеленым полям!

В Лондоне я томлюсь и устаю. Когда-нибудь, Вилл Шекспир, я поймаю тебя на слове и приеду к тебе в Стрэтфорд погостить. Совсем недавно я был в Дрэйтоне и теперь мечтаю о будущем кутеже.

— Приезжай, Бен, приезжай! — сказал Шекспир. — В новом доме у нас много комнат. Вы все приезжайте! — Он с улыбкой окинул взглядом круг своих друзей, сидевших на скамейках перед камином; порожние кубки стояли перед ними, глаза были устремлены на него. Затем его улыбка скривилась, сжалась, исчезла, и другое выражение, более жесткое, появилось на его лице. — Но не будем говорить о Стрэтфорде, умоляю тебя. Я как раз бежал от этой проклятой сельской тишины и покоя. Развлеките меня разговором о Лондоне. Ах, как я жажду этого! Что здесь нового? Только не болтайте о светских делах, о жизни при дворе! Я хочу послушать о потаскухах и распутных девках, о головорезах и грабителях, о плутах и пройдохах.

— Пришел бы ты на полчаса раньше, — сказал Дик Бербеж. — Два Тома, Деккер и Миддлтон, были здесь и потешали нас своей новой комедией «Хохотушка». Ты встречал когда-нибудь Молл Фрит, Вилл?

Шекспир покачал головой.

— Но я много слышал о ней, — добавил он.

— Так вот, те двое провели много дней — и, возможно, еще больше ночей, — изучая манеры и повадки этой красивой грязной мамзели — их хохотушки. Черт возьми, Вилл, я еще не встречал такой женщины. Какой язык, какой разговор, как она ругается! А ее рассказы! Она просто дышит приключениями, как другие дышат скукой!

— А какова она собой? — донесся голос Бомонта с другого конца полукруга.

— Клянусь богом, Фрэнк, что мы видели эту красотку! — добавил Флетчер, сидевший в том же конце. Бербеж повернулся к говорившему, заложив ногу за ногу. Как всегда, когда в компании находился Бербеж, Шекспир наблюдал за его жестами и движениями. Как может человек, такой толстый и грузный, претворять свои движения в такую грацию? Так же, как и на сцене, несмотря на его полное лицо и грубые черты, он внезапно преображался в какого-то полубога. И с тем же вниманием, с каким Шекспир наблюдал за его движениями, он вслушивался в голос своего друга — мягкий, шелковистый голос, который из шепота превращался в настоящий гром и заставлял женщин, сидевших в партере, бледнеть. Как великолепно исполнял он роль Ромео с его прекрасным, благородным лицом! А затем роль Ричарда, от которого женщины падали в обморок и даже забывали о том, кто написал этого Ричарда. Выступая в роли актера в одной пьесе с Бербежем, размышлял Шекспир, он всегда играл лучше, чем мог, — голос друга подгонял его. У Дика, дальше размышлял Шекспир, тоже были свои проблемы: где лучше он мог проявить свой талант — на театре или в живописи? И он избрал сцену — Шекспир часто задумывался об этом — потому ли, что его мучили старые долги, или потому, что его больше привлекал театр?

Бомонт, напротив, являл миру единственный свой талант, благородный и прекрасный. Он был самым красивым мужчиной из всех присутствующих — высокого роста, светлый, с золотистой бородой, с широко открытыми, странно посаженными зелеными глазами, с точеной фигурой — истинная статуя. Никто из них не знал в действительности Фрэнсиса Бомонта, разве только Флетчер; а Шекспир думал порой, что, пожалуй, и Флетчер не знал вполне своего друга и партнера по писательскому труду. И не университетское образование Бомонта отдаляло их от него или его от них, ибо и Флетчер и Джонсон получили такое же образование. Нет, Бомонту просто было присуще какое-то врожденное чувство отчужденности, от которого ничто в жизни не могло освободить его. Что могло стащить Бомонта с этих духовных горных цитаделей и побудить его заняться драматургией?

Флетчер так же отличался от Бомонта, как только может один человек отличаться от другого; маленький, смуглый, взъерошенный, женственный, он обладал необычайно тонким остроумием, душевной теплотой и творческой плодотворностью. У него возникал сюжет даже во время разговора. Сотрудничество этих двух людей было совершенным — так всегда думал Шекспир. Бомонт вкладывал в их труд рассудочность, вкус, чувство пропорции, творческую способность, добросовестность и неподдельное поэтическое качество. Флетчер, с другой стороны, вносил в их общий труд девственный лес мысли и идей, сюжета и плана. Шекспир любил и уважал Бомонта. Но он питал странное духовное родство по отношению к Флетчеру.

— Ты никогда бы не забыл Молл Фрит, если бы увидел ее, Джон, — сказал Бербедрж, сухо обращаясь к Флетчеру. — Она такого же роста, как Фрэнк, но не могу сказать, чтобы она была такая же толстая, — она гораздо толще. Она может удержать двух мужчин одной рукой и убить их другой — кулак у нее словно конское копыто. К тому же красивая баба — золотая, с огненными глазами. Волосы у нее до пят, и она так и ходит иногда. Она тогда вся точно объята пламенем, с головы до ног. Она сама пробила себе дорогу, пядь за пядью, пока не взойшла на свой распутный трон. Никто из женщин не любит ее, никто не осмелится рассердить ее, но каждая отдаст ей свою душу, чтобы сблизиться с ней. Никто из мужчин не станет раздражать ее и не осмелится полюбить ее, но каждый дал бы отрезать себе уши, если бы она избрала его своим любовником. Она обобрала как липку не одного простачка... Она во многом напоминает — хотя сферы их деятельности так различны — нашу покойную девственную королеву Элизабет, — добавил он сухо.

— Как жаль, Вилл, что ты не встретил ее первой, — сказал Хемминдж.

Это замечание вызвало ряд непристойностей. То высокое уважение, доходившее до преклонения, которое бедный Джон Хемминдж питал к Шекспиру, было предметом насмешки членов клуба «Сирена». Бен, особенно в эту минуту, дрожал от смеха с головы до ног. Хемминдж видел, что смеются над ним, и совершенно спокойно относился к этому. Он под-

нял свои большие серые глаза на предмет своей заботы. Хемминдж был здоровенный, широкоплечий мужчина. По сравнению с Бомонтом он напоминал сельского жеребца-производителя рядом с конем рыцаря. Тем не менее во время их блужданий по городским притонам разные Долли, Молли и Полли бросали многообещающие взгляды не на Бомонта, а на Джона Хемминджа.

— Правильно, Джон! — сказал Шекспир сухо. — Очень жаль, что я не увидел ее первой. Я знаю, что ты жалеешь, — и я согласен с тобой, что кто-нибудь из присутствующих здесь бедных писак родился на свет для того, чтобы лишить меня некоторой доли романтики и поэзии, которыми богата веселая Англия.

— Ах, Вилл, — Флетчер постарался дать разговору другое направление, — ты не слышал о Дэборне и его новой детской труппе? И о новом театре неподалеку от «Парижского сада»?

Разговор оживился. Чумазый мальчик-половой, испуганный взгляд которого устремлялся на Джонсона при малейшем его движении, наполнял всем кубки вином «Кэнери» снова, и снова, и снова. Пылавший в очаге огонь по временам погасал, но каждый раз кто-нибудь питал его из кучки поленьев, лежавших рядом. При вспыхе пламени маленькие кружки матового стекла в окнах превращались в ряд сверкающих глаз; комната казалась наполненной людьми. Эти сверкающие глаза освещали самые далекие уголки, кроме угла, уже освещенного пламенем свечи, где Том Хэйвуд писал не переставая, несмотря на разговор, писал без конца, в то же время принимая участие в разговоре. Огромная простая горница представлялась Шекспиру семейным очагом, ибо здесь были проведены тысячи залитых вином, заполненных спором ночей. Каждая картина на стене, каждый непристойный куплет были так знакомы ему. И люди, сидевшие здесь, были его друзья, верные и испытанные. И нельзя сказать, чтобы он ни в чем не расходился с ними, в большом или в малом, или же, что он любил всех в одинаковой мере. Но не было среди них ни одного, кто не представлял бы собой яркого, красочного звена в цепи его лондонского существования. И когда яркое пламя в камине сменилось тихим мерцанием, так что лица были видимы смутно и только сверкали оловянные кубки и искрящиеся смехом глаза, Шекспир особенно остро почувствовал, как близки ему все эти люди. Он слушал их рассказы, следовавшие один за другим, и когда разговор переходил в дуэль остроумия, сопровождаемую взрывами смеха, он побуждал их снова переходить на рассказ. Но это случалось редко. Простой силой воли он превратил эту встречу в вечер анекдота и воспоминаний. Разговоров было много. Передавались последние новости, что касается скаредности Хенсло — ни один вечер в таверне «Сирена» не проходил с успехом, если не уделялось внимания Хенсло. Бомонт рассказал о том, как прошла постановка «Рыцаря пылающего пестика»; Флетчер вспомнил, как удачно Том Хэйвуд помог им в их сатире на него; Бен Джонсон рассказал о постановке «Алхимика» и о тех трудностях, которые он испытывает в работе над новой пьесой под названием «Катилина», — «чертовски трудная драма отчаяния!» — так охарактеризовал он ее.

Настолько трудной она оказалась, что он начал другую, совершенно в ином плане. Когда разговор коснулся прошлого, Джонсон долго рассказывал о том, как он, Марстон и Чапмен неделю провели в тюрьме во время постановки «На Восток!». Бербеж говорил о своих актерских опытах в детском возрасте, сопровождая свой рассказ такими отрывками импровизированной игры, что зрители слушали его затаив дыхание...

Было далеко за полночь, когда Шекспир вернулся в дом Монтжоев с чувством полного душевного покоя. Все его дурное настроение исчезло при сильном, чистом ветре лондонского разговора. Завтра он засядет за работу и будет писать и писать — о, как он будет писать!

Но на следующее утро, хотя день выдался прекрасный и солнце изливало свое бодрящее золото на весь лондонский мир, хотя перо и бумага лежали тут же под рукой, хотя мистрис Монтжой всякими угрозами и подкупам, передаваемыми шепотом, держала весь дом в состоянии могильного покоя, несмотря на все это, писать он не мог. Закрыв глаза, напрягши ум, он пытался вызвать в себе возвышенное настроение прошлой ночи, дать ему выражение текущего дня. Напрасно! Он с трудом нацарапал несколько строчек и отдельных фраз, набросал несколько странных рисунков, напряженно думал, охватив голову руками; думал, шагая взад и вперед по комнате; думал, лежа на постели, уткнувшись лицом в подушку. Напрасно! Он мог делать все, что угодно, и не мог только одного — писать. Возбешенный, наконец, неподвижностью и какой-то мертвенностью своего ума, он схватил шляпу и плащ и выбежал из дому. Машинально он направился в сторону Чипсайда.

Перед ним открывался прекрасный лондонский вид. День был ясный, дул легкий ветерок, и в другое время, при другом настроении сердце Шекспира билось бы от радости при виде этой веселой красочной суеты. Чипсайд был заполнен покупателями, переходившими из магазина в магазин, и гуляющими: домашние хозяйки с корзинами, щеголи и щеголихи в кружевах и плюмажах, крестьяне из деревни в домотканых одеждах, глазевшие на все с изумлением. Огромные магазины стояли в ряд, и яркое солнце играло на брильянтах и янтаре, на льняных и шерстяных тканях, на серебре и коже, на перьях и кружевах. Над головой, качаясь от ветра, магазинные вывески образовали сплошную кайму с изображением ярких сцен, написанных красками не менее яркими. С надменными лицами быстро проезжали верховые; все сторонились, чтобы дать им дорогу. В одном месте в толпу врезалась карета — новый вид транспорта, изобретение того десятилетия, — запряженная парой лошадей. Очень редко появлявшаяся в этом торговом предместье, карета вызвала все те насмешки, грубые шутки и остроты, которые можно слышать от ремесленников Чипсайда, несмотря на то, что в ней сидела прекрасная дама. Вспыхнув от негодования, дама быстро натянула на лицо маску. Посреди всей этой суеты какой-то любопытный ремесленник, возясь со своей работой и бросив на улицу праздный взгляд, заметил Шекспира. Тотчас его резкие крики: «Эй, ребята, это Вилл Шекспир! Вилл из театра «Глобус»! Вилл — наш герой!» были подхва-

чены криками других ремесленников, и по улицам понеслось: «Эй, Вилл! Здорово, Вилл!»

Шекспир, сняв шляпу, начал махать ею, профессионально и машинально улыбаясь. Как колотилось его сердце в то время, когда Чипсайд впервые приветствовал его! В тот далекий волнующий день он не написал ни строчки, но это было не от духовного бесплодия, а от избытка волновавших его чувств. «Эй, Вилл! Здорово, Вилл!» Крики неслись вдоль улицы по мере того, как торговцы и приказчики в магазинах подхватывали их. Шекспир продолжал машинально улыбаться, грациозно размахивая шляпой.

И вдруг крики затихли. Он свернул на мост и пошел медленнее. Вид здесь был прекрасный, хотя и не настолько веселый. Остановившись, он смотрел вокруг рассеянным взглядом. Темза лежала перед ним как громадный шелковый ковер, туго натянутый, если не считать тех моментов, когда поверхность реки слегка рябилась при легком дуновении ветерка; голубая поверхность, где солнце... В уме его вспыхнул вдруг какой-то огонек, потуга на тихи. «Легкая позлащенная рябь, где еще»... Но тут он с неприятным сознанием уловил этот словесный сучок позлащенный и остановился. Есть ли еще поэты, которых так преследовало бы какое-нибудь слово, как его преследует слово позлащенный? Холодное, закоренелое презрение к установленным формам выражения усилило его дурное настроение. Он равнодушно продолжал смотреть на расстилавшуюся перед ним картину.

По гладкой поверхности реки от берега до берега скользили лодки, и крики лодочников: «Эй, к востоку!» и «Эй, к западу!» доносились до его слуха. У самого берега плавали лебеди. Вдоль северного берега тянулся ряд великолепных дворцов — цветочные сады мягкой линией соединяли их с рекой, а бархатные зеленые лужайки строго отделяли их. Вдоль той же набережной выстроились в ряд дешевенькие магазины и жилые дома, протянувшись до квадратного, геометрического серого острова Тауэра. Меж ними, как священный барьер против социального общения, высился собор святого Павла, напоминающий огромный корабль на якоре. А позади виднелись ярко-зеленые холмы. По ту сторону реки театры и сады, притоны и публичные дома сгрудились в одну кучу; они, казалось, делали отчаянное усилие, чтобы скрыть истинную сущность своего назначения. А в стороне от всего этого, в суровом величии и печали стоял собор святой Марии. Струился слабый ветерок. Вместе с ним доносились до обоняния Шекспира ароматы дворцовых садов, до слуха долетал слабый рев львов в Тауэре.

Постояв немного на одном месте, он проследовал дальше, почти не думая о направлении. Окинув взглядом южную набережную, он заметил, что на театре «Глобус» не было флага. Стало быть, представления сегодня не будет. Сперва он думал продолжать свой путь к «Глобусу», но отсутствие флага изменило его намерение. После минутного раздумья он повернул налево и вступил в настоящий лабиринт узеньких улиц и переулков, становившихся шире и живописнее по мере удаления от

Лондонского моста. Наконец он вышел на небольшую открытую лужайку. На траве, усеянной маргаритками, играли дети. Гуси длинной белой лентой протянулись на зелени; они шли, покачиваясь, к корыту, стоявшему посреди лужайки. У одного из маленьких домиков, привлекательного на вид, Шекспир остановился и постучал в дверь.

— Ах, это мистер Шекспир! — воскликнула черноглазая, смуглая женщина, открывшая дверь. И, нисколько не смущаясь, она потянулась к нему своими цветущими губами для поцелуя.

— Ну как поживаете, мистрис Хорвард? — обратился к ней Шекспир с приветствием. — Как можешь ты так цвести при лондонском воздухе? Или это розы Стрэтфорда еще рдеют на твоих щеках?.. И как чудесно вы здесь устроились! — добавил он, когда она ввела его в дом.

Комната, в которую они вошли, была больше, чем можно было предположить по наружному виду дома. Высокие окна — наполовину открыты; свежий воздух врывается в них; солнечные лучи, проникавшие сюда, расписали пол своеобразной мозаикой. На столе, наполненная весенними цветами, стояла ваза возле огромной книги, почти покрывавшей весь стол. Мистрис Хорвард пододвинула Шекспиру кресло с высокой спинкой, украшенное резьбой, а себе взяла другое.

— Рассказки мне о Стрэтфорде, — начала она. Ее большие, навывкате глаза, слишком большие, чтобы ее можно было назвать красавицей, сверкали; краска у нее на лице то вспыхивала, то потухала.

Шекспир пространно сообщил ей все новости родного города. Это ее больше всего интересовало, хотя она и задавала вопросы, касающиеся его работ, и кончила тем, что спросила, почему он приехал в Лондон — уж не новая ли пьеса заставила его приехать? К счастью, она не спросила ни названия пьесы, ни ее содержания. Шекспир был искусен в разговоре и обладал в достаточной мере инстинктивной симпатией и чувством юмора, чтобы говорить именно то, что нравилось мистрис Хорвард, но он испытал некоторое чувство облегчения, когда появился ее муж.

Джон Хорвард был одним из немногих среди молодого поколения в Стрэтфорде, с кем у Шекспира было неподдельное духовное родство. Это был высокий коренастый мужчина, широкоплечий, слегка сутулый; серые глаза его всегда казались усталыми от ночных занятий. Поэзия была чужда его натуре, но ученым он был по природе.

Шекспир часто обращался к нему, когда в своей работе наталкивался на затруднения в области истории, медицины или законодательства. Огромная книга, лежавшая на столе, — недавнее приобретение, с которым Хорвард тогда же познакомил Шекспира, — являлась свидетельством скорее научного, чем религиозного направления его ума. Это было новое издание библии, о котором так много говорили последние несколько месяцев. Мужчины пододвинулись к столу и занялись детальным осмотром и обсуждением книги.

— В нашем университете еще нет такого издания, — сказал Шекспир.

Мистрис Хорвард куда-то вышла. Когда она вернулась, на руках она держала здорового, краснощекого мальчугана, чьи глаза — такие же большие и черные, как у матери, — проливали слезы по случаю того, что его не вовремя отняли от игры.

— Это Джон Хорвард-младший! — сказала мистрис Хорвард, помешав мужчинам. — И вы можете сказать всем, Вилл Шекспир, когда вернетесь в Стрэтфорд, что вы ездили в Лондон, чтобы посмотреть на ребенка, который родился взрослым мужчиной.

Он зашел к Хорвардам не столько ради старой дружбы, как в надежде, что разговор с Хорвардом приведет в движение колеса его творческого ума. Но ничего не указывало на то, что подобная надежда оправдается. Их разговор, полный энтузиазма со стороны Хорварда и небрежный с его стороны, ни к чему не привел, — если назвать ничем страстное желание, неожиданное и неудержимое, вернуться в Стрэтфорд; ту внезапную тоску по деревенскому покою, по огромным ярким звездам, которые можно видеть только в деревне, по прохладным, облитым росой сумеркам, по обильному солнечному свету, по аромату цветов и летним краскам, — если все это считать ничем...

Игра была кончена! Лондон не дал ему ничего. Завтра он уезжает в Стрэтфорд!

Он и не заметил — так долго и бесцельно бродил он по улицам, прилегающим к набережной, — как очутился у здания театра «Глобус». «Привычка, конечно», — подумал он устало. Он пришел сюда, как идет лошадь в свое стойло, так знакомое ей. Но, подойдя к «Глобусу», он вдруг почувствовал усталость и решил заглянуть.

Ах, вот почему сегодня на театре не было флага! Он тут же вспомнил, что во время долгого разговора прошлой ночью Хемминдж, секретарь «Глобуса», сказал ему, что театр временно закрыт. После зимы потребовался некоторый ремонт. Пара плотников — крепкие, грубоватые парни — срывали сгнившие доски в центре, под огромным голубым пятном открытого неба. Сбоку лежали куча свежих досок, инструменты.

Шекспир уселся на эту кучу досок и безжизненным взглядом начал рассматривать пустые ложи и большую сцену, вдававшуюся далеко в глубь здания. Плотники, бросив на него беглый взгляд, приняли его, вероятно, за неотъемлемую часть этого странного театрального мира и спокойно продолжали разговор. Вначале они старались говорить тихо, затем перестали обращать на него внимание.

Солнце поднималось все выше и выше. Приятный древесный запах исходил от досок, на которых сидел Шекспир. Он впал в то состояние, при котором в голове не остается ни одной мысли и как будто даже перестает работать сознание.

Один из плотников, тот, что помоложе, минуты две уже рассказывал о каком-то странном приключении из своей жизни, прежде чем его слова дошли до слуха Шекспира. Поддавшийся овладевшему им душевному покою, он старался не слушать. Но одна подробность, более острая, чем другие, ворвалась

в эту духовную пустоту и мгновенно пробудила в нем необыкновенное чувство жизни.

— Да, Рафе, — продолжал рассказчик, отвечая на вопрос своего товарища, — с юных лет я был моряком. Я находился в числе команды сэра Ярге Соммерса. Принимал участие в известном путешествии в новое Западное море. Да, мне пришлось видеть и слышать такие вещи, что ты и не поверишь.

Рафе, чуть постарше своего товарища, был сухой, с тупым взглядом и впалыми глазами малый, любивший острое крепкое словцо и на все смотревший скептически.

— Да, Стивен, — сказал он, громко рассмеявшись, — я знаю вас, моряков, знаю ваши басни, знаю, как вы любите врать. Мой шурин ездил когда-то с Рэлеем в Новую Гвинею. Он такое потом рассказывал, что нам пришлось однажды выкупать его в корыте, из которого поят лошадей, и с той поры он немного прикусил язык.

Стивен, в свою очередь, рассмеялся добродушно. Смех был в натуре этого здоровенного, грузного чернобрового парня с шеей, как у быка.

— Это верно. Моряки часто сочиняют там, где голая правда показалась бы гораздо более невероятной.

Сказав это, он погрузился в молчание, которое раздражало и интриговало.

Некоторое время не слышно было ни звука, если не считать того, как трещали доски, отрываясь от деревянных гвоздей.

— А ты расскажи о своем приключении, — неожиданно промолвил Рафе. — Как я тебя знаю, ты единственный правдивый моряк из тех, кого я встречал. Расскажи, а я послушаю.

— Странное приключение мне пришлось пережить, — сказал Стивен, — очень странное. И мне все равно, верят мне или нет, но это не выдумка! Это истинная правда, и больше я ничего добавить не могу... Когда мы отплыли из Лондона, все моряки на нашем судне были молодцы на подбор. Все англичане, кроме одного. У этого чужака было совершенно черное лицо, но он не был арап, как ты можешь подумать, а весь обросший волосами, точно обезьяна, и лицо его было такое скуластое и страшное, что его дети боялись. Небольшой горб торчал у него на спине, и ходил он вразвалку. Руки были такие мускулистые, что он мог бы задушить человека, как медведь. Золотые кольца украшали его уши, а голову он повязывал платком, расцвеченным как ярмарочный пряник. За поясом у него всегда торчал нож с кривым лезвием, которым он одним махом мог бы выпустить кишки человеку. И имя у него было какое-то особенное, мы никак не могли к нему привыкнуть, кратко называли его Каль.

— Такие маленькие, кургузые люди бывают очень сильны, — заметил Рафе.

— Мы плыли все время при славной погоде, море было гладкое, как... как поверхность кружки с пивом, когда осядет пена. На судне у нас было очень весело: моряки перебрасывались шутками и по очереди рассказывали о своих необыкновенных приключениях в далеких странах и на далеких морях.

Но одного нам не доставало — вина. Капитан наш был человек, хорошо знавший море, но он был большой скряга насчет вина и здорово наказывал провинившихся. Дни шли, а вина не было. Дни превращались в недели, а вина все не было. Моряки томились и начинали потихоньку роптать. Но солнце продолжало ярко светить, и ропота настоящего среди нас не было, пока мы не натолкнулись на острова...

— На какие острова, Стивен? — спросил Рафе.

— На Бермудские, дружище. Ты разве не слыхал, какие сэр Ярге Соммерс открыл острова? Группа островов — одни из них не больше твоей руки, другие — побольше Лондона. Они расположены посреди моря, зеленого и синего, как павлиний хвост. Здесь мы пристали к берегу для отдыха. Сэр Ярге со своей свитой сошел на берег, чтобы посмотреть, не окажется ли здесь драгоценностей вроде золота или редких камней.

— Ну и что же? — нетерпеливо спросил Рафе.

— Кажется, ничего такого не оказалось. Но как только сэр Ярге Соммерс покинул судно и сошел на берег, среди команды поднялся ропот. Моряки начали требовать вина: «Грога, грóга! Если нет грога, то подавай нам простого пива или эля!» Но, сколько мы ни просили — вполне, знаешь, вежливо и пристойно, — в ответ получали одно: нет! И вот как-то ночью этот обросший волосами моряк, Каль, стащил небольшой бочонок вина из судового погреба, и трое нас — я, он и старый седоволосый питуха Тринк — спустились по борту парохода в шлюпку и поплыли к берегу.

— Дело довольно рискованное, — заметил Рафе.

— Взаправду рискованное. И ты не то еще скажешь, когда узнаешь, что с нами случилось. Но слушай! Мы пошли бродить по острову, останавливались, чтобы посмотреть, когда нам встречалось что-нибудь по пути, и все время прикладывались к бочонку. Все шло хорошо, и мы любовались видами: цветы, как драгоценные камни, и с сладким запахом кустарники, большие деревья совсем не попадались, одни лишь кустарники, и все в цвету; и птицы, такие сладкоголосые, что их было слушать. И воздух такой легкий и живой... Мы глядели и глядели на все это, и чем больше глядели, тем больше пили, а чем больше пили, тем больше глядели... Наступили сумерки, а мы все любовались и пили. Но когда уже совсем стемнело, нас обуял страх: неожиданно вспыхнули какие-то огни, они пронизывали воздух и прыгали; огни настолько большие и яркие, что, казалось, звезды сыпались с неба, — они все время мелькали и танцевали перед нашими глазами: здесь, там, всюду!

— То были светляки! — скептически заметил Рафе.

— Дружище, я говорю тебе, что это были танцующие огоньки! То низко на земле, то высоко в воздухе, выше человеческой головы. Они то вспыхивали, то потухали, то снова вспыхивали. Мы попытались поймать хоть один такой огонек, но это было все равно, что поймать солнечный луч. Но тут нас обуял страх: мы вдруг увидели перед собой какого-то человечка, малюсенького, и настолько близко, что можно было коснуться его рукой.

— Малюсенького человечка? Что ты хочешь сказать?

— Да, совсем маленького человечка, не больше моей руки. Он танцевал перед нами, окутанный белым облаком, словно в тумане. Глаза его сверкали, как брильянты, а сам он улыбался обольстительно, как девушка. И он манил нас к себе! Мы погнались за ним. Каль, Тринк и я погнались за ним. Мы бежали по холмам, перепрыгивали ручьи, путались в кустарниках и колючках, но догнать его не могли. Это было какое-то волшебное видение — оно несло вперед, хотя не было ни малейшего ветерка. Но мы продолжали бежать за ним, все вперед и вперед. И когда мы бежали, нас вдруг настигла буря — гром так грохотал, что, казалось, не выдержат уши, и так сверкала молния, что небо разрывалось на две огненные половины. А ливень! — он, как прутья, хлестал нас по спине и по лицу. И когда началась буря, все эти волшебные огоньки исчезли; маленький человечек как сквозь землю провалился. Нами овладел такой страх, что животы подвело! Мы бежали и бежали под проливным дождем, пока уже не было сил бежать. Падали, поднимались, снова бежали, спотыкаясь, пока не упали на землю и не заснули — заснули прямо под проливным дождем и проспали до полудня.

— А что же потом было? — спросил Рафе.

— Ничего! Когда мы проснулись, был ясный, голубой день, в небе ярко светило солнце. Карлик исчез. Но, несмотря на все страхи, Тринк крепко держался за бочонки. И когда Каль и я, стуча зубами от холода, проснулись, Тринк говорит: «Вот мое утешение!» — и снова прикладывает к бочонку.

— А как же вы вернулись на корабль?

— С корабля на остров отправили партию, которая искала нас, пока не нашла.

— И какое вам потом было наказание?

— Нас заковали в кандалы и на неделю посадили в трюм на хлеб и воду. Но сэр Ярге был в прекрасном настроении по случаю открытия Бермудских островов и не мог долго гневаться. Так что скоро мы снова были на палубе и при хорошей погоде благополучно прибыли в Англию.

— А что, Каль и Тринк вспоминали о карлике, когда протрезвились? — спросил Рафе хитро.

— Мы ни разу не сходились вместе без того, чтобы не заговорить о нем, — со всей серьезностью ответил Стивен. — Я вижу его и сейчас перед собой — маленький туманный человечек со смеющимися, как у эльфа, глазами, обольстительной улыбкой, как у девушки, и крохотными ручками, которыми он подзывал нас к себе...

Шекспир встал со своего места на досках, словно очнувшись от сна. Он ступал так тихо, что Стивен и Рафе не заметили, когда он ушел. Сначала он шел медленно, затем все быстрее и быстрее. Пройдя мост, он вышел на Чипсайд, затем на улицу Силвер-энд-Меггл. Завидев дом, где жили Монтжои, он побежал. Когда он вошел в переднюю, мистрис Монтжой встретила его вопросом:

— Что случилось, Вилл Шекспир? Глаза у тебя горят, как раскаленные угли; щеки — будто ты в лихорадке.

Шекспир не стал отвечать на вопрос.

— Пришли мне скорее навверх бумагу, мистрис,— сказал он.—
Всю, какая у тебя есть, и пошли купить еще!

Он бросился вверх по лестнице, как мальчик. Войдя в комнату, он тотчас сел за стол и взял чистый лист бумаги. Быстро водя пером, он написал: Летняя сказка. Затем, зачеркнув это, написал:

Б у р я

Сцена: Корабль в море.

Буря с громом и молнией.

На 2-й странице
обложки: рисунок
П. Павлинова к рассказу
В. Смирнова «Одна ми-
нута».

На 4-й странице
обложки: фото
Ю. Абрамочкина и
В. Шустова «Монтаж во-
достоков Братска».

В первом номере
1965 года читайте
приключенче с к у ю
повесть Я. Наумова
и А. Яковлева «Тон-
кая нить».

Редакционная коллегия: И. А. ЕФРЕМОВ, А. П. КАЗАН-
ЦЕВ, Ю. А. ПОПКОВ, В. С. САПАРИН, Н. В. ТОМАН, В. М. ЧИЧКОВ.

Художник-оформитель А. ГУСЕВ.

Рукописи не возвращаются.
Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

Адрес редакции: Москва, А-30, Сущевская, 21. Тел. Д 1-15-00,
доб. 4-10.

А109156. Подп. к печ. 24/XII 1964 г. Бумага 84×108¹/₃₂. Печ. л. 5 (8,2).
Уч.-изд. л. 10,5. Тираж 300 000 экз. Цена 20 коп. Зак. 2095.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.





ФАНТАСТИКА ● ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Цена 20 коп.